

С. ЮРАСОВ

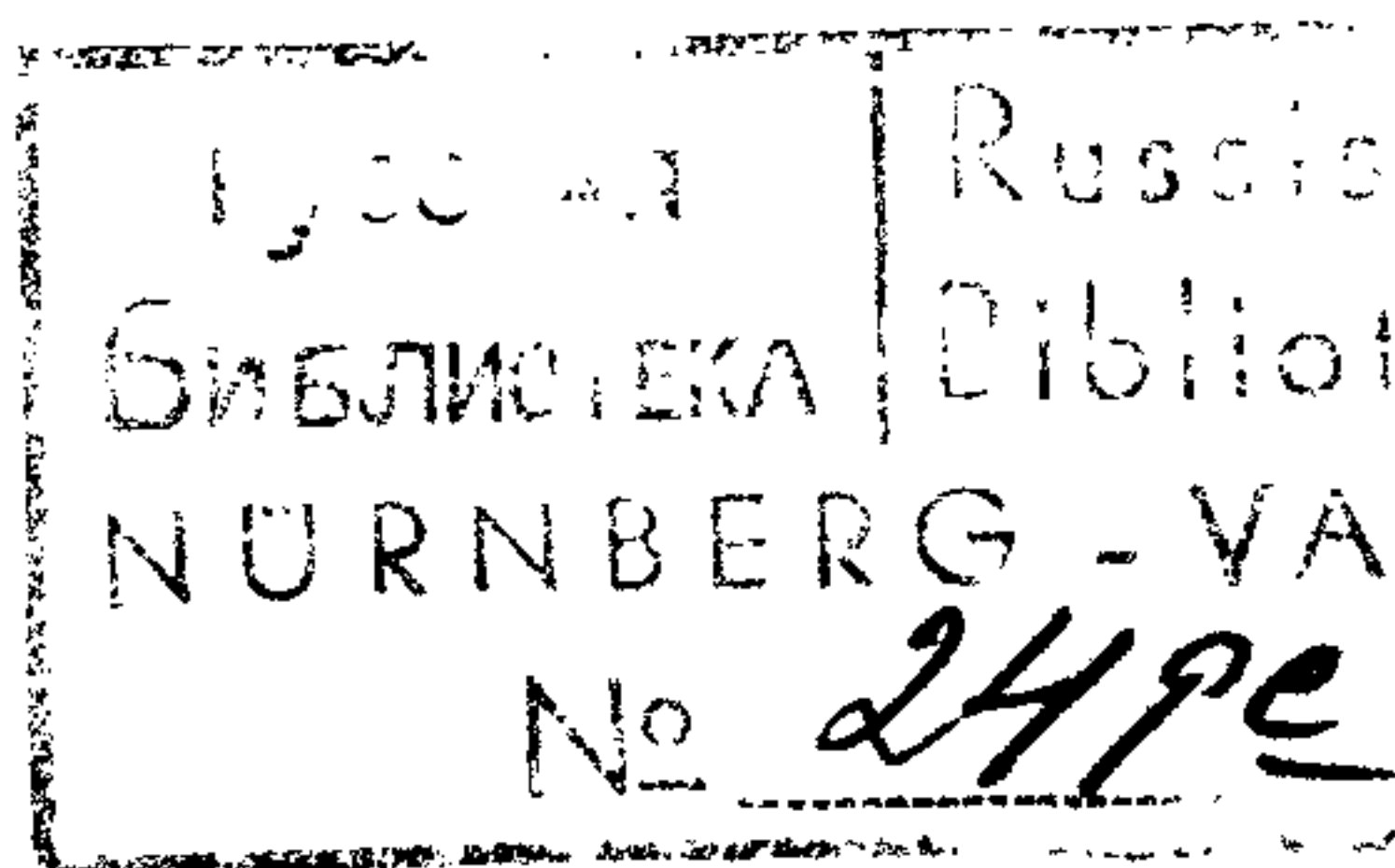
# „ВРАГ НАРОДА“

РОМАН

ИМЕНИ Л. С. СТИВЕНСА

L. C. Stevens  
Bibliothek  
L. C. Stevens memorial  
Library  
München 15, Lessingstraße 4

19202 883



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

## ПРЕДИСЛОВИЕ

К концу 2-ой мировой войны и, особенно после победы, в Западной Европе оказалось большое число советских людей, вывезенных немцами из Советского Союза, которые отказались вернуться на родину и предпочли стать эмигрантами. Вскоре к ним начали присоединяться советские граждане, в конце войны очутившиеся за границей и использовавшие эту возможность для бегства из-под власти Сталинского режима.

Новая эмиграция из перемещенных лиц (так называемые Ди-Пи) и перебежчиков не замедлила дать знать о себе. В разных органах русской зарубежной и иностранной печати стали появляться их рассказы, повести, стихи, публицистические статьи. Они сразу обратили на себя внимание. Тогда же возникло чувство, что многие среди представителей этой молодой советской эмиграции явятся пионерами нового раздела современной русской литературы, которая впервые даст возможность заглянуть за железный занавес и увидеть некоторые, — цензурой и собственным страхом писателей, — тщательно охраняемые уголки жизни и души советских граждан.

Эта новая ветвь современной литературы еще очень молода, не все дарования смогут окрепнуть. Но такие произведения, как роман С. Максимова «Денис Бушуев» (первый том его уже появился по-русски, по-английски и по-немецки), книга Юрия Елагина «Укрощение

искусства», рассказы покойного Евгения Гагарина, стихи Ивана Елагина, — оправдывают возлагаемые на новую эмиграцию надежды.

К этой же группе произведений надо отнести и роман С. Юрасова «Враг народа», ныне выходящий в свет в издательстве имени Чехова.

С. Юрасов родился в 1914 году. Окончив электротехнические курсы, он стал работать по специальности на ряде таких крупных строителей, как Магнитогорск, Россельмаш и на предприятиях ленинградской промышленности. Работал он и по электрификации сельского хозяйства (в частности, в совхозе «Гигант» на Сев. Кавказе). В 1934 году Юрасов, с юности тяготевший к литературе, поступил на литературный факультет Ленинградского университета, стал членом студенческих литературных кружков. В 1937 г. однако он был арестован, в НКВД нашли в его литературных опытах «безнадежный разлад с действительностью» и он был осужден на 10 лет «за контр-революционную пропаганду» (ст. 58, п. 10). Наказание отбывал в Сегежлаг НКВД в Карелии. В начале советско-германской войны лагерники были отправлены на земляные работы к самому фронту. Во время немецкого наступления лагерников эвакуировали на восток. В дороге Юрасову удалось бежать. Два года он скрывался, затем, раздобыв подложные документы, поступил на работу, но вскоре был мобилизован в армию. С конца войны и до 1946 года, он, в чине подполковника, состоял на службе в советской военной администрации в Германии. С 1946 и вплоть до бегства был уполномоченным Министерства по репарациям. Когда в 1947 году в Германии началась проверка советских служащих, Юрасов бежал в западную зону. Первые его статьи были напечатаны в «Аллес» и в «Швебише Ландесцайтунг», печатался он также в швейцарских и французских периодических изданиях.

«Враг народа» — литературный первенец Юрасова. Действие романа разворачивается частью в восточной зоне послевоенной Германии, частью в Советском Союзе. Главным действующим лицом в нем является гвардии майор Федор Панин. По замыслу автора Федор Панин представляет собой того «человека с войны», который, судя по ожиданиям советской критики 1945 года, должен был стать центральной темой послевоенной литературы. Теме этой однако не суждено было утвердиться. Уже первые рассказы советских писателей «Семья Иванова» (покойного Андрея Платонова), стихи бывших фронтовиков вызвали неудовольствие литературного начальства. Оно поняло, что «человек с войны» — не прежний безропотный подсоветский гражданин, что военное поражение первого периода войны оставило в нем неизгладимый след, что, в свете военных пожарищ, отступления и тяжелых страданий, он на многое взглянул иначе, чем прежде, и собирается рассказать об этом своим современникам. В страшной «чистке» рядов литературы от «врагов народа», «антипатриотов» и «космополитов» тема «человек с войны» была задушена. С тем большим интересом прочтет читатель роман Юрасова.

По своему душевному облику Федор Панин — «несогласный гражданин». С ранней юности он начал писать стихи. Когда они попадали в руки комсомольцев, те говорили: «красиво, но не созвучно эпохе», «сказывается буржуазное влияние». Федор никогда не понимал, почему его стихи «несозвучны», когда никакой другой «эпохи», кроме советской, он не знал с самого детства. Еще меньше понимал он, почему в его стихах чувствуется «буржуазное влияние». Не случись войны, Федор в конце концов, вероятно, угодил бы в концлагерь. Но ему «повезло», он успел окончить инженерный институт, отличился на войне, попал на заграничную работу. Но тяжкие сомнения одолевают его.



Федор не одинок: его друг подполковник Василий Трухин делится с ним своими думами и чувствами. Первые сомнения родились в Трухине еще во время финляндской войны: «крестьяне, рабочие жили там, как нашим и не снилось». Поездка домой после войны только усилила в обоих эти сомнения. Но делиться своими сомнениями Панин и Трухин могут только с немногими... Хорошо задуманный сюжет, наблюдательность, глубоко пережитый личный опыт помогли Юрасову справиться с большой и трагической темой.

**Издательство имени Чехова.**

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В квартире темнело. В декабре сумерки быстры. Федор стоял у окна и глядел сквозь полузапотевшее стекло. Снег перестал, тихий переулок сверху казался полосой бумаги, а автомобиль Федора — большим зеленым жуком на ней.

На тротуаре уже протоптали мокрую дорожку. Редкие прохожие скользили и шлепали по снежной кашнице. «Слякоть», — подумал Федор, — «слякоть на дворе, слякоть во всем...»

Небо было в сплошных низких косматых тучах. Откуда-то сзади, из-за дома, медленно клубясь, растягиваясь и разрываясь, они плыли за дальние белые крыши. И мысли Федора были, как тучи, — отрывочные, бесформенные, тоскливые.

В окне напротив зажгли электричество. Федор увидел украшенную елку. Вспомнил о письме. Оно лежало тут же, на подоконнике. Письмо Сони, сестры. Поздравляет с наступающим Рождеством. Сырой берлинский вечер, как он не похож на русские вечера в сочельник! Правда, православное Рождество только через две недели. Откуда-то из памяти выплыл далекий день: мороз, солнце, он мальчиком, в новом костюмчике, бегают с Соней по комнате; Соня тоже в праздничном платье, косы с бантами, — ждут маму — идти в церковь...

У Федора задергалась щека. Мама! Как живая

вспомнилась, какой оставил, уходя на фронт, — старенькая, вся — забота и беспокойство о нем, о Федюшке-сыночке... Соня пишет: «Мама так и не дождалась... Ты для нее до последнего дня все был мальчиком, и не верила фронтовым фотографиям, хотя гордилась, что офицер».

«Мама, мама, умереть за день до освобождения города!». Он был тогда на ленинградском, когда пришло письмо. И вспомнил острую боль, и слезы в лесу, чтобы никто не видел, и первое удовлетворение от боя и вида немецких трупов на снегу. Соня и в этом письме пишет о последних маминых словах: «Феде скажи, чтобы во всем был человеком... чтоб человеком был...» Он знает, что хотела сказать этим мама, и ему уже не доставляют удовлетворения воспоминания о трупах на снегу...

И тут же вспомнил плачущего старика-немца. Казалось бы, пора привыкнуть — какое ему дело до всего этого! Но он уже не мог не думать о плачущих глазах старика... Когда Федор стал просить замполита, тот удивленно посмотрел и сказал: «Не сентиментальничайте, майор, его два станка помогут одному из наших заводов выполнять план. Мало они у нас забрали?» Кто они? Разве старик забирал?

Сегодня к Федору в комендатуру прибежал старик, владелец маленькой мастерской. Сорок лет этот человек делал из дерева фигурки ангелочков, детей и зверушек. Во время бомбардировок месяцами жил в мастерской, решив умереть вместе с нею. И когда однажды попала зажигательная бомба — бросился тушить и изуродовал пальцы левой руки. И вот теперь прохвост в капитанских погонах — Федор ясно видел перед собою толстое самодовольное лицо демонtajника — в желании выслужиться перед своим мини-

стерством, для которого демонтировал рядом с мастерской мебельную фабрику, решил заодно прихватить и два станочка старика. И называет это «патриотическим долгом». Федор обязан помогать демонтажу фабрики — на это есть постановление Особого Комитета и приказ Комендантского Управления, но он не мог допустить незаконного ограбления ни в чем неповинного старика.

Тот прибежал к Федору и, держа в изуродованной огнем и работой руке фуражку «рот-фронт», надетую по этому случаю, стал просить герра майора оставить ему его станки — единственное средство к жизни семьи: «Я никогда не работал на войну! Мой единственный сын погиб в гитлеровском кацете! У них нет постановления на демонтаж моей мастерской! Спасите меня!»

И Федор помчался на фабрику, и накричал на «сабуровца»\*), но станки уже были погружены в вагон; тогда он приказал этому цивильному капитану ехать с ним в комендатуру и потащил к коменданту, но полковник, как всегда, не захотел «вмешиваться» и направил их к замполиту.

Замполит же решил, что, кроме «пользы Советскому государству», от этого ничего не будет. Старик заплакал и, кивнув Федору, ушел пошатываясь.

«Что я могу сделать, мама? Вот и у Сони тоже что-то не так, о чем она не дописывает. Надо бы съездить к ней — отпуска не дают».

Федор взял письмо, спрятал в карман кителя и отошел от окна. В полумраке разыскал на буфете бу-

---

\*) «Сабуровцы» — демонтажники. Главой всех демонтажников в Германии был Сабуров (1945 год), ныне председатель Госплана СССР.



тылку и прямо из горлышка сделал два больших глотка. Потом прошелся, опять посмотрел в окно на мокрый снег улочки и снова подумал о наступающем Рождестве. Рождество — это детство. В стране, к которой принадлежал он, Рождество было «перезжитком отмирающего мира». Рождества нет, нет мамы, нет семьи. Есть только он — боевой офицер, и это одиночество и эта усталость.

Хмель теплом разлился по телу. Мысль стала ярче и тревожнее. Когда вошел Карл, Федор ходил по комнате большими шагами.

— Господин майор, можно мне быть свободным? Вайнахтен наступает. Мне хотелось бы встретить праздник со своей невестой и родными.

Вот и его шофер имеет и невесту, и Рождество. Федору стало жалко себя и он отвернулся к окну.

— Конечно, Карл. Ты свободен на все праздники. Если что-нибудь будет экстренное — я позвоню.

Внизу, обходя автомобиль, из дома вышли две фигуры. Он сразу узнал одну из них — «девушка в солдатских ботинках». Она шла, поддерживая калеку-мать. В свободной руке она несла книгу. «Молитвенник — подумал Федор — идут в церковь». Переходя улицу, мать поскользнулась и чуть не упала.

«Печальным приходит для них Рождество. Наши всю войну кричали «убей немца!», а нет уже злобы на них. Особенно, против таких, как эти, — беженцы, раздавленные войной, жалкие...» Вспомнил лицо плачущего старика. «Как им это скажешь? А может быть и говорить не нужно? Может быть, так надо — сколько было в них спеси «высшая раса»! Может быть, это и есть справедливость?» Но старика было жалко, и скрывшихся за углом женщин тоже было жалко.

Вспомнил о Карле. Тот стоял в полумраке у печки

и ждал приказания. Федор отошел от окна, нашел в ящике приготовленный сверток:

— Вот, Карл, для тебя и твоей невесты — Вайнахтсгешенк. Там в углу возьми еще бутылку вина и выпей за мое здоровье.

Карл, чтобы рассмотреть бутылку, включил свет. Столовая осветилась, окна стали темными. Стулья стояли беспорядочно, на ковре валялись бумажки и окурки. В углу на полу у буфета были свалены свертки — завтра могут приехать гости, и Федор закупил в «Гастрономе» продуктов и вина.

Выбрав бутылку вина подороже, Карл, похожий на дрозда — из-за манеры держать голову с большим унылым носом набок — вниз, стал благодарить:

— Херцлихен данк, герр майор!

«Вот и Карл, — был солдатом-шофером, воевал против нас, против меня... Мать и отец убиты при бомбардировке, все сгорело... Теперь привязался... И его жалко... Чорт знает что!»

— Пожалуйста, Карл. Желаю тебе приятного праздника.

Заметив беспорядок и сор в комнате, спросил:

— А почему не приходит уборщица, Карл?

— Она собиралась уезжать в деревню, господин майор. Наверно уехала.

— Надо узнать. Если уехала, найми другую. Разве ей было плохо?

— У нее двое детей, господин майор. В деревне родные, там прокормиться сейчас легче.

Федор вспомнил «девушку в солдатских ботинках»; вчера он видел, как она тащила на себе тяжелый рюкзак с картофелем. «Да, печально Рождество с одной картошкой...» Взгляд его остановился на куче покупок.

— Карл, а нельзя ли этим бедным женщинам внизу что-нибудь подарить на Рождество? Только, чтобы не знали от кого.

Карл посмотрел на хозяина, будто впервые увидел его, и не сразу нашелся, что ответить:

— Вы очень хороший человек, господин майор. Я хочу сказать, что никогда раньше не думал, что русские бывают такими.

— Спасибо, Карл, — усмехнулся Федор.

— В войну нам говорили о русских... Но мы не очень верили Геббельсу, но и раньше, в школе мы учили про Россию... Я теперь вижу: много вздора говорили нам в школе...

— У каждой нации, Карл, есть хорошие и плохие люди. Поверь мне: русский народ — не плохой народ, но что поделать, если времена заставляют делать всякое...

— Это правда, господин майор. Мы тоже в России делали много плохого, то есть, не мы, солдаты, а эсэсовцы...

— Ну, хорошо, Карл. Есть старая русская поговорка: «Кто старое помянет, тому и глаз вон». Как же передать этим женщинам Вайнахтсгешенк? Они, наверно, беженцы?

— Беженцы, господин майор, — из Штеттина. Муж старой дамы — капитан транспортного судна — погиб у берегов Норвегии, сын в русском плену, дом и все имущество отняли поляки. Ее тяжело контузило при бомбардировке поезда. Очень бедствуют.

— Только, чтобы никто не знал, от кого подарок. Понятно?

— Яволь, герр майор. Я могу послать одного мальчика, которого они не знают.

Мысль о тайном подарке уже захватила Федора, и

он принялся без разбора откладывать свертки в одну из коробок.

— Это чересчур много, господин майор, — не выдержал шофер.

— Ничего, Карл, — Федору стало вдруг так хорошо, что, если бы он мог сейчас послать для этих чужих ему людей целый автомобиль подарков, он сделал бы, не задумываясь.

— Надо бы что-нибудь написать, господин майор. Федор не знал, что пишут в подобных случаях.

— А что бы ты написал, Карл?

Карл глубокомысленно опустил нос и вытянул губы.

— Они набожные люди, господин майор. Может быть написать: «Все люди братья»?

— Нет, Карл, это уж очень торжественно! Нет ли чего попроще?

— Почему, господин майор? «Все люди братья» — это очень хорошо.

— Ну, ладно, все равно! Пойдем. — Они прошли в кабинет.

Карл сел за стол и старательно вывел на листе от блокнота готическим шрифтом. Смысл надписи от готического шрифта, как показалось Федору, стал значительнее.

— Спасибо, Карл. Машину оставь внизу, может быть, я еще поеду.

Карл взял подарки. У дверей обернулся.

— Желаю вам счастливого праздника, господин майор.

— Спасибо, Карл, и тебе то же.

«Праздника, какого праздника?» — Оставшись один, Федор потушил электричество и подошел к окну.

Шофер, осторожно ступая по снегу, переходил



улицу. На тротуаре оглянулся на окна, видимо, думая о Федоре.

Небо просветлело, тучи поднялись, высоко за ними угасал день. Федор снова взял бутылку. Вспомнил свое давнее, студенческое стихотворение и, глядя на закатное небо, прочел вслух:

День взял и занемог. Осунулся, и мглой  
 Покрылась даль... За горизонт устало  
 Побрел и слег, укрывшись с головой  
 Огромным шелковым закатным одеялом.  
 И долго засыпал... Я только что домой  
 Вернулся с улицы, и мне опять не спится,  
 Опять неможется — воспоминанья, лица  
 В огромных сумерках толпятся надо мной.

Федор писал стихи с детства. И любил стихи. Это была потребность молодости: одни музицируют, другие рисуют, а он писал стихи. И, хотя знал, что стихи его порой были не хуже, а, случалось, явно лучше стихов, которые читал в газетах, журналах и сборниках, он никогда не пытался печатать их. Втайне ему очень хотелось увидеть свои стихи напечатанными. Но он знал, что вся печать принадлежала государству, которое требовало поэзии о «величии строительства социализма», о вождях, о «солнечном советском строе», а если — лирика, то лирики чувств «советского человека». Он же писал о своих настроениях, о вещах, которые ему нравились, и знал, что в его стихах не было ничего, что могло угодить советской печати. Когда его стихи случайно попадались в руки комсомольцев или коммунистов, те, обычно, говорили: «красиво, но не созвучно эпохе», или «сказывается влияние буржуазной поэзии». Федор никак не мог понять, почему «не созвучно эпохе», когда сам он жил со своими

чувствами в ту же эпоху, что и они; почему «буржуазное влияние», когда никогда не был «буржуем», а только любил в жизни то, что существовало во все времена, — природу, любовь, радости, печали. За то, что у старых поэтов об этом было сказано лучше, чем у современных, он отдавал предпочтение старой поэзии и объяснял себе это тем, что вырос на старых книгах и, наверное, просто не дорос до понимания красот новой поэзии, к которой он никогда не чувствовал враждебности, считая, что каждый поэт имеет право писать, как ему нравится. Он даже оправдывал новую поэзию и часто говорил словами Сократа: «то, что я понял — прекрасно, то, чего не понял, может быть также прекрасно, — просто я не понял». На вопросы знакомых, почему он не пишет серьезно и почему не пытается печатать свои стихи, если так любит поэзию, Федор отшучивался — «поэтому и не пытаюсь». И продолжал писать для себя, для своих близких, в свободное от работы или службы время.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Он решил поехать к коменданту — полковнику Баранову. Остаться в пустой квартире он не мог.

Баранов жил замкнуто; из офицеров комендатуры в доме у него бывали только Федор и замполит, подполковник Моргалин. Моргалин — потому, что был политическим заместителем коменданта, а Федор больше потому, что Тоня, жена полковника, всегда была рада видеть его. Молодая, с тихим обыкновенным лицом, на двадцать лет моложе мужа, все время занятая четырехмесячным сыном, она, когда приходил Федор, оживлялась, говорила с ним о книгах, которые он доставил ей из реквизированных библиотек бежавших или арестованных русских эмигрантов, играла с ним в четыре руки Рахманинова, советовалась, где и что можно достать для ребенка и хозяйства.

Тоня в войну была телефонисткой в полку, где служил, тогда еще капитаном, Баранов, — женатый, отец двух детей. Там же, на фронте, Тоня стала его «ППЖ» — «походно-полевой женой», как называли фронтовых подруг. После войны, уже полковник и комендант, Баранов решил жениться на молодой девушке. Развод после войны стал делом трудным. Страну охватила эпидемия разводов, и суды стали отказывать даже генералам. Но, пользуясь связями, которые давала Баранову служба коменданта в Берлине (кто только ни приезжал из Москвы — и проку-

роры, и члены Верховного Суда — и всех принимал и одаривал Баранов), — он все удачно устроил: развелся и женился на Тоне.

Федор догадывался, что Тоня пошла на этот брак из-за общей после войны усталости, от бедности и бесперспективности дома, куда она должна была вернуться после демобилизации. Мужа старалась любить, сыну обрадовалась и была по-своему счастлива.

Полковник в комендантуре держался с офицерами официально, дома или когда оставался с Федором с глазу на глаз, показывал к нему свое покровительство. Тогда лицо его и голос словно говорили: «ничего, брат, не поделаешь — служба!»

Баранов был членом партии более десяти лет. Где партийным билетом, где природной смекалкой и умением угождать начальству, он сумел за войну, не участвуя в боях, выслужиться из капитана в полковники. Малообразованный, он был, что называется, «хитрым мужиком» и понимал, что инженер Федор нужен ему, как хороший помощник, в вопросах, в которых он, Баранов, мало разбирался. Когда Тоня говорила с Федором о книгах или играла на рояле, полковник часто садился в стороне и слушал. Если книга чем-нибудь особенно нравилась Тоне или Федору, Баранов тайком прочитывал ее и, вызвав жену и Федора на разговор о ней, любил поразить их своим суждением, а, главное, тем, что и он читал. Суждения его были иногда неожиданны и метки.

Однажды Тоня под секретом показала Федору неизвестный ему русский журнал, изданный в 1942 г. в Нью-Йорке. Книжку Тоне дала почитать соседка — жена полковника Колчина, уполномоченного МГБ при берлинской комендатуре. Федор провел в доме Баранова все воскресенье, пока не дочитал журнал до кон-



ца. Баранов делал вид, что не знал, какую книгу читал Федор, и только ухмылялся. Среди авторов рассказов и статей журнала были имена, которые Федор встречал в литературе о революции и гражданской войне. Его особенно поразило то, что они были живы и что писали о Советском Союзе и войне так, словно ничто другое их не интересовало. И то, что многое в журнале было похоже на его, Федора, мысли, смутило и, даже, как-то испугало его. Ни Тоня, ни он о журнале не говорили, будто его и не было. Каждый из них знал, что этой границы переступать нельзя.

После долгих объездов разбитых улиц Федор выехал на Александерплатц. Немногие прохожие спешили по домам. На фоне уже темного, но все еще розоватого неба развалины высились декорациями к какой-то фантастической драме.

У Бранденбургских ворот машину остановил КП\*). Федор затормозил, но лейтенант комендатуры «Штадт-Митте» узнал его и махнул — проезжать.

Пустынное, заснеженное Шарлотенбургеншоссе, с черными изуродованными стволами Тиргартена по сторонам пахнуло холодом и одиночеством. Федор, вместо того, чтобы проехаться, как хотел вначале, поторопился свернуть у памятника Седану, — в свинцово-тяжелом небе золотой ангел осенял победным венком лежащий в развалинах многомиллионный город, на голове и на плечах ангела был снег, отчего он казался горбатым, с забинтованной головой.

Комендант жил в Панкове, в городке центральной комендатуры. Немецкий полицейский, разглядев советский номер машины, поднял тонкий полосатый шест, и Федор въехал в тихую, в снегу, идущую полукругом

---

\*) КП — контрольно-проверочный пункт.

уличку. По сторонам стояли виллы: дом полковника Елизарова — политического руководителя берлинской комендатуры, дом коменданта Берлина генерал-лейтенанта Смирнова, — у подъезда стоял автомобиль, возились денщики и адъютант, вытаскивая какие-то ракеты и ящики с бутылками. В стороне виднелась большая вилла полковника Колчина, — у входа мерз солдат-постовой.

Подъехав к чугунным воротам дома Баранова, Федор затормозил и нажал на сигнал. Сквозь решетку, на фоне снега, чернели стволы деревьев и статуи. От ярко освещенного входа по снегу тянулись мягкие светлые тени.

К воротам выбежал Франц — немецкий шофер коменданта.

— Гутен абенд, герр майор!

Федор подрулил к колоннаде входа, где уже ждал Ваня — посыльный и «комендант» дома.

Отдав им машину, Федор пошел по широким ступеням парадного.

«Как в старой помещичьей усадьбе». — Ему даже показалось, что где-то в музее или на иллюстрации старого журнала он когда-то видел такой дом, с колоннадой и зеркальными дверями. Что-то напомнило дома русских дворян, о которых читал в романах Тургенева, Гончарова, Толстого.

Горничная Лиза, девушка из репатриированных, невеста Вани, помогла снять шинель и, блестя зубами, находу сообщила:

— Полковник Марченко со своей, полковник Рыльский с женой и какой-то цивильный — министр, что ли.

От теплого воздуха дома, от мягкого света бра и зеркал, от ковров в коридоре Федору стало уютно и тепло. Снова вспомнилось что-то из книг. И, хотя он

знал, что роскошь эта — временная случайность, ему вдруг захотелось думать, что жизнь книг стала явью.

Из гостиной доносились голоса. Дверь в коридор открылась и в темном вечернем платье вышла Тоня. Федор подумал: «хозяйка дома встречает заноздавшего гостя».

— Федор Михайлович, как хорошо, что вы приехали. Здравствуйте.

Здороваясь, Федор почувствовал, что ей тоже приятно играть роль «молодой хозяйки большого дома». И от этого стало еще лучше и приятнее.

В ярко освещенной гостиной — в коврах, бронзе, цветах, с дорогой мебелью — было накурено. Вокруг длинного стола сидели гости.

— Здравия желаю, — громко поздоровался Федор.

Из-за стола, в растегнутой гимнастерке, поднялся Баранов и, тоже играя роль гостеприимного хозяина, пошел Федору навстречу. Пожав руку и не выпуская ее, повел к креслу, в котором сидел незнакомый Федору человек с длинным бледным лицом, в синем костюме и фетровых бурках.

— Разрешите представить, Иван Данилович, моего помощника, героя ордена Ленина и многих других, майора Панина.

Федору стало неприятно, что вышло не так, как ему хотелось, — войти и, после общего поклона, поздороваться с дамами, а потом с мужчинами. Видно, этот в костюме был большим начальством и зачем-то нужен полковнику.

Гость, не вставая, подал холодную руку и показал желтые, длинные зубы. Очень светлые глаза его смотрели остро и, как казалось Федору, настороженно.

Игра явно портилась, но спас Марченко: крупный, седой, краснолицый, в форме полковника, уже изрядно



подвыпивший, он громко через стол приветствовал Федора:

— Федорушка! Вот молодец, что приехал! Иван Данилович, прошу любить и жаловать, — наша гордость и наша надежда, смотрите, какой молодец! Я его все уговариваю демобилизоваться и катать ко мне на комбинат — замечательный работник!

Федор догадался, что штатский из Москвы — заместитель министра Целлюлозно-бумажной промышленности — хозяин Марченко. Сам Марченко, директор Архангельского химико-бумажного комбината, уже более полугода находился в Германии, возглавляя министерскую группу демонтажников.

Баранов до мобилизации в армию работал в системе того же министерства, каким-то заведующим лесными разработками, и теперь «подготовлял» для себя, на случай демобилизации, «теплое местечко на родине». Для этого водил знакомство с Марченко, помогал его группе, широко принимал и одаривал приезжающих начальников из министерства.

Федору давно надоела барановская «политика» — тот всех посылал к нему за записками в немецкие магазины и фирмы района на белье, трикотаж, платье. Федор называл их «саранчой» и с трудом переносил бесконечные просьбы. Он и сейчас подумал о госте: «и этот будет просить».

Рядом с заместителем министра сидела жена Марченко — худая женщина с быстрыми глазками, ужасно надоедавшая Федору просьбами о записочках. При виде Федора она даже привстала:

— Здравствуйте, товарищ майор.

За ней сидел инженер-полковник Рыльский — плотный, коротко стриженный блондин с энергичным белым лицом. Рыльский, как обычно, видимо, больше



слушал, чем разговаривал сам. Федор знал его как толкового и делового инженера, — Рыльский работал в Управлении Репараций и Поставок, во время войны служил в инженерном управлении 5-й армии, — но не долюбивал его за холодность и скрытность: «застегнут на все пуговицы».

Екатерина Павловна, жена Рыльского, смотрела на вошедшего Федора, словно его появление обрадовало ее. Темные глаза, как всегда, были внимательны и как-то настойчивы. Закрытое черное платье делало смуглое лицо бледнее, а глаза ярче. Гладко причесанные на пробор волосы кончались сзади тяжелым узлом. Полноватое, слегка напудренное лицо было неожиданно, после глаз, спокойно.

Федор встретился с Рыльской летом, здесь же, у Баранова. Она приехала с Марченко. В тот день что-то произошло приятное, и Федор был оживлен и остроумен. Присутствие красивой женщины еще больше оживило его, и он в шутку ухаживал за нею: нарвал огромный букет сирени, проводил до автомобиля. Марченко, видно, рассказал ей о Федоре в обычном для него тоне преувеличения. После этого она не раз приглашала Федора к себе. Приглашал и Рыльский, но Федор, недолюбливая того, так ни разу у них и не был. Марченко однажды, захмелев, заговорщицки сказал: «Эх, Федорушка, будь я на твоём месте...», но Федор, догадываясь, о чем речь, уклонился от разговора.

Всякий раз, встречая Рыльскую, он ощущал, вместе с приятностью, какое-то беспокойство. В ней было нечто иное, чем то, что Федор видел и знал в лицах других женщин.

Но на этот раз Федор обрадовался ей, ему снова

захотелось игры, и он с удовольствием поцеловал маленькую горячую руку.

— Садись, Федор, между хозяйкой и Екатериной Павловной. Развлекай дам! — крикнул со своего места Баранов.

Марченко немедленно налил в винный бокал водки и протянул Федору:

— Федорушка, догоняй!

— Федор с ухарством, которого все ждали от него, опрокинул бокал и стал закусывать.

— Еще одну! — Федор выпил другую. — Вот как пьют наши! Никакая другая нация на свете не может так пить! — горячась, обратился Марченко к гостю, видимо, продолжая прерванный приходом Федора разговор.

Гость ковырял зубочисткой в углу рта и разглядывал Федора. Федор заметил, что перед гостем стоял бокал с яблочным соком. «Больной!» — почему-то с удовольствием подумал он.

— А знаете, Иван Данилович, как Федя перепил американца? — отвлекая внимание гостя, захохотал Баранов.

— Ну, ну? — промычал гость.

— Передавал я это американцам район Целендорф. Устроили, как полагается, совместный банкет. Выпили, конечно. И вышел у меня разговор с их полковником, новым комендантом — кто крепче в выпивке. Я говорю — русские и в войне и в выпивке крепче, а он смеется и говорит — не верю. Стал я доказывать, а он мне — «О-кэй!» и позвал какого-то своего капитана: детина, я вам доложу, — во! Рыжий, конопатый, но здоров! Я и говорю Феде: «выручай, майор, честь русского солдата», сам шепчу: «масла глотни, масла». Федя послушался, глотнул незаметно грамм сто масла

и сел против рыжего. Стали они пить из одного стакана, так сказать, — ха-ха-ха! — в честь дружбы союзников! Сначала водку, потом виски, потом опять водку, опять виски; Федя по-нашему, по-русски, на закуску нажимает, а тот воду со льдом да фрукты больше. Тут Федя вдруг и говорит: «Это что, мол, — подать сюда спирту!» Я уже думал — опупел. Принесли спирту. Федя в один стакан спирту, а в другой пива — нашего «ерша»-то! Хватили они, добавили по мелочи, американец и свалился. Даже врача вызывали. Вот смеху было! Федя же, такой жох — скорей в туалет, два пальца в рот и — все в порядке! Вернулся в зал, как ни в чем не бывало, и такие фокстроты с американками стал выделявать, что они только рты раскрыли! Одна, полковника дочка, долго еще потом приглашения присылала, да нельзя — сами понимаете.

Марченко, давно знавший эту историю, хохотал громче всех: — Шалишь, брат, нет на земле крепче русской силушки!

— И смекалочки! — сквозь смех крикнул Баранов.

Гость тоже показывал зубы, но Федору казалось, что считает его, Федора, дураком. Ему стало неловко и стыдно: он до сих пор краснел за эту выходку, разнесшуюся по всему Берлину, — тогда в крови было еще опьянение и угар войны и радость от сознания, что остался жив.

Тоня вышла по хозяйству. Рыльская молча смотрела на Федора. Чтобы скрыть неловкость от рассказа Баранова, Федор наклонился над тарелкой и делал вид, что занят едой. Но когда гость забарабанил пальцами по ручке кресла и сказал ничего не значущее «м-да-да!», Федор вдруг разозлился. Чтобы досадить гостю,

громко рассмеялся и, глядя на одного Баранова, спросил:

— А помните, товарищ полковник, какой тост предложил тогда американский комендант?

Баранов растерянно засмеялся. Ему и хотелось еще посмешить гостя, и что-то его удерживало:

— Давай, Федорушка! Давай, рассказывай! — крикнул Марченко.

Поднял он тогда на банкете тост «за замечательных русских людей, героически и самоотверженно преодолевающих трудности!» Мы, конечно, «ура-а-а!», а он выждал и добавил: «беда лишь в том, что эти трудности они создают себе сами».

Марченко захохотал. Рыльский улыбнулся углом рта. Гость пожевал губами, а потом обнажил зубы, и Федору показалось, что он собирается кусаться. Баранов смотрел то на Федора, то на гостя и, когда тот показал зубы, виновато засмеялся.

Федор взял бокал и повернулся к Рыльской:

— Хотите выпить, Екатерина Павловна?

Та посмотрела ему в глаза и вполголоса ответила:

— С вами — с удовольствием, — а потом, обращаясь уже ко всем, громко сказала:

— Товарищи! Есть предложение выпить.

Все обрадовались предлогу и с шумом потянулись чокаяться. Гость чокался своим «апфельзафтом».

Хрусталь бокалов Федора и Рыльской, оттого ли, что остальные чокались неосторожно, или от чего другого, зазвенел как-то особенно: интимно и печально. Оба заметили это и посмотрели друг на друга.

Пили старое французское вино, где-то раздобытое расторопным Ваней.

— Почему вы, Федор Михайлович, так и не за-



езжаете к нам, ведь я приглашала вас? — негромко спросила Рыльская.

— Работы много, Екатерина Павловна.

— Нельзя же жить таким затворником. В ваши годы надо больше бывать на людях.

— Где там с людьми. Даже в отпуск не пускают к сестре съездить.

Рыльский рядом, откинувшись на высокую спинку стула, разговаривал с женой Марченко и, казалось, прислушивался к разговору жены с Федором. Баранов с Тоней показывал гостю картины — на стенах висели три превосходные копии Мурильо. Федор как-то рассказал полковнику про Мурильо и с тех пор слышал не раз, как тот, будто невзначай, говорил своим гостям: «вот замечательные копии замечательного испанского художника Мурильо». А гости, как и этот, наверное, слушали и думали: какой, однако, Баранов культурный — даже испанских живописцев знает.

— Нет, вы обязательно должны бывать на людях. И еще... не пить так много, — опять вполголоса сказала Рыльская.

К ним подошел Марченко.

— Николай Васильевич, ваш любимец жалуется, что ему отпуска комендант не дает.

— Да зачем он тебе, Федорушка? Аль жениться задумал — там по нем не одна вздыхает! Что ж, если так, похлопочу — поезжай. Кстати, моя Мария Ивановна тоже собирается после Нового года — вместе и поезжай. Поможешь ей в Бресте при пересадке: там, говорят, по неделям сидят.

— Вы его хотя бы к себе пригласили, а то он совсем скиснет в работе, — засмеялась Рыльская.

— И то правда. Приезжай, Федя, к нам под Новый

год. Охоту устроим — у нас там зайцев, зайцев! Екатерину Павловну с полковником вытянем.

— Не знаю, товарищ полковник, — как начальство.

— А мы сейчас и начальство потянем. Послушай, полковник! — Марченко отошел к Баранову, беседовавшему с гостем:

— Выберись с женой в следующее воскресенье к нам, на охоту. А? Иван Данилыч, может быть, и вы согласитесь?

Гость показал зубы:

— Нет, товарищ Марченко, я в Германию приехал не на зайцев охотиться. Да и вам не советую — лучше с транспортом скорей управиться.

Марченко от замечания начальства увял и замямлил что-то в оправдание. Баранов, поняв реакцию гостя, поторопился:

— Какая там охота, полковник, дел по горло.

В комнате стало скучно, все замолчали. Снова выручила Тоня, обратив внимание гостей на принесенных жареных фазанов.

Баранов подозвал Федора и усадил рядом с собою и гостем. Чокаясь, Федор не утерпел и спросил:

— Товарищ заместитель министра, а почему вы не пьете вина?

Гость снисходительно улыбнулся:

— Я свою цистерну давно выпил. Теперь врачи запретили. Да и, все равно, соревноваться с вами не стал бы!

Баранов придвинул кресло и, сделав официальное лицо, заговорил вполголоса:

— Вот что, товарищ майор, — Ивану Данилычу нужно достать машину, и не какой-нибудь «Опель», а солидную, с хорошей амортизацией и отоплением. Иван Данилыч должен объезжать заводы, а состояние

его здоровья — Федору показалось, что Баранов чуть не сказал: «драгоценного здоровья» — требует тепла и покоя. Что можно сделать?

Федор знал, что в гараже комендатуры были запряжаны «Майбах» и «Хорьх», но про них было известно Центральной Комендатуре, и Баранов не мог ими распорядиться для своих личных целей. Федору захотелось сразу отказаться, но тут же подумал, что поиски автомобиля освободят его на несколько дней от надоевшей работы и он сможет заехать в дивизию:

— Здесь, товарищ полковник, не достать. Все хорошие машины растащили. Надо куда-нибудь в провинцию съездить.

— Сколько тебе для этого нужно времени?

— Дня три и чистый бланк паспорта на машину, чтобы не задержали в пути и не отняли.

— Хорошо. Можешь выезжать хоть завтра. Бланк дам. В комендатуре распорядись у себя на эти дни. Только, чтобы машина была первоклассная.

Гость сидел и ковырял зубочисткой в зубах, не вмешиваясь в разговор. Федору показалось, что тот недоволен посвящением его, Федора, в это дело.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Что это, Инга?

— Я не знаю, мама.

Лампочка осветила комнату с закопченными стенами и темным деревянным потолком. На столе, покрытом чистой старенькой скатертью, стояла маленькая, ничем не украшенная елочка с двумя свечами.

Старуха, тяжело дыша, опустилась в плетеное кресло. Девушка поставила картонку на стол и принялась лихорадочно вынимать свертки. Когда вынула бутылку и тужелую бутылку шампанского, глаза старухи напряглись, она с трудом поднялась и, держась за спинку кровати, подошла к столу.

Рядом с бедной елочкой лежали нарядные коробки и свертки. Два пакета развернулись, старуха увидела розовую ветчину и сыр. Странно празднично блестело золото и серебро бутылочных этикеток и коробок.

Опустив руки, девушка испуганно смотрела на мать.

— Что это, Инга? — неестественно громко спросила та.

— Я не знаю, мама.

— Кто это прислал тебе? Откуда этот мальчик?

— Это не мне, мама.

— Ты лжешь! Отвечай немедленно — кто это тебе прислал? — лицо старухи исказилось, и она схватилась за грудь.

Девушка со слезами повторила:



— Я не знаю, мама.

— Это русское! Видишь, это русское вино! Русские проклятые буквы! Видишь! — голос старухи переходил в крик.

— Ради Бога, успокойся, мама! Клянусь тебе, я ничего не знаю.

— Не трогай руками! Все поганое и все краденое. У Германии краденое! Сейчас же собери и выбрось! Сейчас же, немедленно!

Губы девушки задрожали и, глотая слезы, она стала складывать свертки в картонку. И только тогда заметила записку. Увидела и старуха:

— Что это? Сейчас же отдай! — Схватила и трясущейся рукой поднесла к глазам. Потом растерянно посмотрела на картонку, на дочь и, обессилив, опустилась в кресло. Посиневшие губы ее что-то шептали. Девушка не решалась взять записку. С первого мгновенья она поняла, что это он. И продолжала стоять у столика, глядя на мать.

— М-а-а-а-ма!

Старухе стало дурно. Девушка бросилась к ней, потом — за водой и, не зная, как помочь, страшно испугавшись, стала целовать безжизненные руки матери. Когда уложила на кровать и укрыла одеялом, опустилась на колени и принялась гладить седую голову и похолодевшие лоб и щеки. Глаза невольно остановились на упавшей на пол записке и прочли.

Старуха полузакрытыми мутными глазами смотрела прямо перед собой. Казалось, что она еще не пришла в себя, но вдруг, не меняя выражения глаз, все так же не двигаясь, она сказала, с трудом выговаривая слова:

— Инга, поклянись мне, что ты не знаешь, от кого это вайнахтсгешенк.

— Клянусь, мама, — торопливо ответила девушка и тут же опять подумала, что, наверно, от него — этого высокого офицера сверху.

Старуха словно догадалась.

— Это, наверное, майор, живущий над нами.

— Не знаю, мама. Я никогда не разговаривала с ним. Соседи говорят, что он очень хороший человек. Может быть и он.

Старуха скосила на дочь глаза.

— Мы не можем, Инга... Он носит мундир убийц твоего отца и, может быть, твоего брата, моего мужа и сына...

— Я не знаю, мама.

— Ты должна вернуть ему это. Поблагодари, но верни.

— Хорошо, мама... — Потом тихо добавила: — ему будет больно, мама. Он написал: «все люди братья». Сегодня пастор говорил то же самое. Может быть, в России такие же хорошие люди помогут нашему Петеру. — Девушка знала смертную тоску матери по сыну, ей не хотелось обижать этого офицера, о котором столько раз думала, особенно, когда он играет наверху, и, что всегда поражало, — ее любимую «Лунную сонату».

— Может быть, тебе стоит поговорить с ним, и он подскажет, куда нам писать о Петере, или сделает что-нибудь для него?

Старуха промолчала. Девушка напряженно ждала. Где-то далеко на улице раздался выстрел.

— Отец не простит нам, Инга...

— Я думаю, что папа понял бы. Может быть, у этого офицера тоже несчастье в семье.

Старуха опять ответила не сразу:

— Прочти мне записку.

Девушка подняла записку и шопотом прочла:  
— «Все люди братья».

Старуха все так же смотрела в потолок. Потом из глаза, который был виден девушке, медленно показалась слеза и, скользнув по морщинистому виску, упала и расплылась на подушке. Девушка прижалась щекой к плечу матери.

Вдруг погас свет — обычное выключение сети их района. Только окно серело вырезанным в темноте четырехугольником. Мать и дочь не двинулись и молчали, каждая думая о своем.

Под окном, громко разговаривая, прошли подростки. Проехал автомобиль, со стены, через потолок, ломаясь на углах, на противоположную стену проплыла светлая тень.

— Зажги свечи, Инга. Встретим нашу рождественскую ночь... Простит нам Господь Бог.

Старуха с помощью дочери поднялась. Села за стол, подвинула к себе картонку и стала медленно вытаскивать и медленно разворачивать свертки. Девушка стояла рядом и больше смотрела на мать. Потом, угадав желание той, принесла тарелки и две чашки.

От вида давно забытых явств: ветчины, икры, колбасы, семги, сыра, сладостей глаза старухи заблестели, руки задрожали больше обыкновенного, и она, не удержавшись, стала жадно пробовать то одно, то другое.

Когда стол был готов, а аккуратно завернутые пакетики убраны в шкаф и за зимнюю раму, девушка откупорила бутылку со странным названием «Узбекистан» и налила в чашки густого красного вина. Шампанское старуха решила продать на черном рынке, где бутылка стоила триста марок.

— Прозит, мама.

— Прозит, мое бедное дитя. Будем верить, что Христос сделает когда-нибудь всех людей братьями. — Она сказала это для дочери. «Братья» и люди для нее были ее знакомые, соседи, жители Берлина, немцы. Поляки, русские и все другие, кого она называла «славинер», в это число не входили.

Вино было сладкое. Сразу же захмелев, старуха накинулась на еду. Чуть слышно потрескивали свечи, тихо колебались красноватые языки пламени. Потом старуха стала рассказывать, как ели у них дома, когда Инга была еще девочкой, как Райнгольд — отец Инги, возвращаясь из плавания, всегда привозил с севера шкуру. Мать рассказывала о прошлом, о чем Инга хорошо знала сама — она тогда уже училась в гимназии. Они жили тогда в своем большом доме, и мама была красивой и молодой. «Как она постарела после известия о гибели папы и от всего, что было после — война, потеря дома, ранение, издевательства поляков, крах надежд на возвращение Петера»...

Старуха говорила что-то о Петере. Девушка не слушала и думала о русском наверху. От света свечей лицо старухи стало темным, как на портретах Рембрандта. Лицо девушки от вина и мыслей похорошело, румянец на смуглой, чуть с желтизной, коже стал ярче, детский рот потемнел. У нее было лицо, которое редко встречается в Германии, разве — в Тюрингии и в Австрии — каштановые густые волосы и темносерые глаза в черных рамочках ресниц, брови — темные, вразмах. Ее нельзя было назвать красавицей — немного крупный рот и тупой, хотя прямой, с хорошо очерченными ноздрями, нос, но линии подбородка, шеи, плеч были чисты и женственны.



Было далеко за полночь. Старуха давно спала, слабо похрапывая в подушку. Девушка лежала рядом, заложив руки за голову, и смотрела в темноту. Откуда-то издалека, ввинчиваясь в тишину, появился звук автомобиля. Он нарастал, приближался, но светлая тень проплыла по стене и потолку, и автомобиль проехал мимо. И опять девушка лежала и ждала.

Где-то за стеной пробило два. На улице слышались хрумкающие шаги по подмерзшему снегу, и она сразу, сердцем, угадала их. Кровь бросилась к лицу, и стал слышен стук сердца. Шаги подошли к парадному, в замке защелкал ключ. Ключ плохо подходил и проворачивался. Она вспомнила, как однажды он долго не мог отпереть дверь, и она решилась ему открыть. И как он узнал ее в темноте и тихо сказал: «Филен данк, фрейлейн», и как она покраснела, — она всегда ужасно краснела, встречаясь с ним — он так хорошо смотрит на нее, что она не может сердиться и только краснеет, даже когда его уже нет, и она только вспоминает его глаза. Она и теперь подумала: что, если встать открыть ему? Ей так захотелось это сделать, что руки прижались к груди и сердце забилося настойчиво и призывно. И хотя она знала, что это невозможно, и тело ее продолжало лежать рядом с матерью, но мысль ее, тревожная, девичья, вскочила и побежала открывать.

Она услышала, как ему удалось, наконец, отпереть, и дверь хлопнула, закрываясь. Девушка задержала дыхание и слушала, как скрипели ступени лестницы под тяжелыми шагами. Немного спустя, те же шаги раздались над головой. Они долго шагали по потолку, с конца в конец, и она снова думала о том, что он всегда один, совсем не похож на других советских офицеров, которых она встречала на улице: она ни

разу не видела и не слышала, чтобы он приезжал с женщинами или пьянствовал и скандалил.

Потом шаги смолкли и все стихло.

— Гутен нахт, милый, — про себя прошептала девушка и, радуясь сладости и тайне чувства, повернулась спиной к матери и, чему-то улыбаясь, зарылась лицом в подушку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Все было готово. Федор еще раз проверил чемодан: пара теплого белья, новый китель с орденской планкой, выходные сапоги, записная тетрадь, неразлучный томик Блока, несесер и две запасные обоймы патронов, — кажется, все. Не забыть бы меховую шубу — на дворе похолодало.

Рядом стояли две картонки с покупками и подарками.

Вошел Карл.

— Машина готова, господин майор. Только бензина на обратный путь не хватит.

— Ничего, Карл, в дивизии достанем. А как на счет уборщицы — узнавал?

— Она уехала.

— Жаль. Придется квартиру оставить так.

Карл взял чемодан и картонки. Федор надел кожаное пальто, запер квартиру и, натягивая перчатки, пошел по лестнице вниз следом за Карлом.

Дверь в партере была приотворена. Вспомнив про подарок, Федор улыбнулся, — только бы они не подумали плохого! И в ту же минуту дверь распахнулась, и она — его сероглазая соседка, глядя на него снизу вверх, с яркой краской смущения на лице, шагнула через порог. Федор невольно остановился.

Ему всегда было приятно встречать эту девушку, приятно видеть, как вспыхивал румянец на по-девичьи

полных щеках, как опускала лицо свое под шапкой густых, «толстых», как говорил он, волос. Когда ему случалось увидеть на секунду ее глаза, он улавливал в них, столько чистоты и столько затаенного любопытства, что ему на целый день после этого становилось почему-то приятно. Но он всегда старался смотреть на нее незаметно, чтобы она не подумала о нем дурно.

На этот раз девушка сама смотрела на него и, повидимому, хотела что-то сказать.

— Герр майор, извините, пожалуйста, — проговорила она быстро и от волнения остановилась.

— Пожалуйста, — ответил Федор, настораживаясь.

— Я хотела от имени моей мамы и от себя поблагодарить вас за рождественский подарок...

Федор покраснел и, теряясь, забормотал, забывая немецкие слова:

— О, пожалуйста... Не стоит благодарности... Это не я, — но, поняв, что проговорился и что отказываться уже глупо, покраснел еще больше.

— Нет, нет, господин майор, я знаю — это вы. Мама послала меня поблагодарить вас...

Не зная, что сказать, Федор, стараясь справиться со смущением, неожиданно для себя спросил:

— А ваша мама дома?

— Если вы... пожалуйста...

Не понимая, зачем он это делает, Федор пошел по темному коридору и шагнул через порог открытой девушкой двери.

Старуха сидела в кресле и пытливо смотрела на вошедшего.

— Гутен таг, гнедиге фрау.

— Гутен таг, герр майор.

«Господи, как глупо» — подумал он и снова смутился.



— Я пришел не для того, чтобы выслушать благодарность. Я хотел только сказать, что сделал это от всего сердца, что все мы... люди и... верим в одного Бога, — и совсем покраснел, потому что не думал о Боге с детства и давно считал себя неверующим, и подарок послал не от религиозности, а от минутного желания сделать что-нибудь хорошее. «Ничего это тебе не стоило и это ужасно стыдно. Ханжа!» — мысленно выругал он себя.

Старуха, заметив его смущение, может быть, впервые увидела русского офицера-человека с застенчивостью молодости.

— Я верю вам и поэтому благодарю вас.

— А я очень рад, что вы мне верите — этого вполне достаточно... Я всегда был бы рад, если... могу быть вам полезным чем-нибудь. Не поймите меня плохо, просто я слышал о вашем несчастье...

Он подбирая слова, невольно стараясь произвести впечатление образованного офицера и хорошего человека, не столько потому, что это был он, сколько потому, что был русским и офицером перед немцами. Так было у многих советских офицеров и даже солдат.

Старуха, услышав о своем несчастье от чужого, тоже покраснела.

— Это так не похоже, извините меня, на советских офицеров... И я рада, что нет правил без исключений.

Федор вспомнил, что почти то же самое говорил ему вечером под Рождество Карл, и так же ответил:

— Каждый народ имеет хороших и плохих людей, гнедиге фрау. К сожалению, в последнее время людей, плохо поступающих, становится больше, но виноваты ли они в этом? Мне стыдно за плохие поступки наших офицеров, но, клянусь вам, вы многое простили бы им, если бы знали их жизнь.

— Мне трудно это — мой муж погиб от русской мины, мой сын умирает где-то в плену в Сибири, — резким шопотом проговорила немка.

— Поверьте, гнедиге фрау, мне больно слышать о вашей горе. Я понимаю его — мой отец погиб от немецкого снаряда в первую мировую войну, моя мать умерла от лишений во время немецкой оккупации в 1943 году, — ответил Федор, и щека у него дернулась.

Старуха взглянула на него и неожиданно легко поднялась, протягивая ему руку:

— О, простите меня.

Федор, пряча глаза, наклонился и поцеловал ей руку, — и в этом было продолжавшееся в нем желание показать себя «настоящим офицером», хотя разговор его взволновал.

— Жизнь жестока ко всем. Только мы сами можем помочь друг другу.

Старуха села.

— Вы молоды, у вас есть силы и положение победителей, а мы, все потерявшие, чужие, обуза для окружающих... Это очень трудно, — она поднесла платок к глазам. — Я больна, дочь моя молода, но что она может сделать, когда кругом все разбито и работы нет. Ездить в Тельтов разбирать картофель?

Федору стало чуточку неловко за то, что она от большого горя перешла к житейскому.

— Вы, наверное, знаете: узнай начальство о моем поступке и, особенно, об этом разговоре, меня страшно покарала бы. Поверьте, многие из нас с готовностью помогли бы людям в нужде — русские люди знают горе, может быть, больше, чем кто другой на земле, но страх наказания за обыкновенную человечность удерживает их. Политика требует бесчеловеч-

ности. Но я буду рад, если могу чем-нибудь помочь вам, если вы, конечно, разрешите мне это. Единственное, что я попрошу, — это, чтобы все оставалось между нами.

Старуха пытливо посмотрела на Федора.

— Вашей дочери незачем ездить в Тельтов. Мне абсолютно не стоит труда найти для нее работу здесь, в этом районе, в каком-нибудь немецком учреждении или фирме. Сейчас я уезжаю на несколько дней, а когда вернусь, скажите мне ваше решение, — и говорить Федор невольно старался, подражая какому-то прусскому офицеру.

Он вспомнил о заболевшей уборщице. Зная, что работа у советских офицеров выгодна, тут же хотел предложить освободившееся место, но подумал, что предложение работы уборщицы для ее дочери, да еще в его квартире, может обидеть эту, несомненно интеллигентную даму.

— Это очень мило с вашей стороны, герр майор. Мы будем очень, очень вам благодарны. Я знаю, как трудно сейчас с чистой работой, мы будем рады любой черной работе, только бы это было рядом — мне трудно оставаться одной.

И тогда Федор решился:

— Разрешите мне быть откровенным, гнедиге фрау. Я мог бы предложить вашей дочери работу у себя, — глаза старухи опять стали острыми, — Федор поторопился, — хотя бы на время моего отсутствия: женщина, следившая за квартирой, — он не решился сказать «уборщица» — заболела и уехала. Мне, все равно, нужно кого-нибудь нанимать. Нужно следить за порядком и записывать, если кто позвонит в мое отсутствие... Если это вам подойдет, мой шофер все покажет и расскажет подробнее.

— О, герр майор! Это так любезно! Я не знаю, как вас благодарить.

— Не вам, а мне нужно вас благодарить, — и, испугавшись за двусмысленность, поспешно добавил: — я беспокоился за квартиру, а теперь буду спокоен.

Во время разговора Федор старался не смотреть на девушку. Он не видел ее, но знал, что она стоит сбоку, у печи, и что ей, может быть, неловко и даже стыдно за мать, как это бывает с очень молодыми людьми. Но потом повернулся и, обращаясь уже к ней одной, сказал:

— Разумеется, если вы согласны и если это... не оскорбляет как-нибудь вас.

Она потупилась, что-то прошептала, потом взглянула и он угадал по глазам: «Я благодарю тебя, я знала, что ты — хороший».

И Федору стало так хорошо, что он поторопился откланяться и вышел, сказав, что сейчас придет шофер и расскажет остальное.

Карл сидел за рулем и недоумевал, что могло задержать хозяина.

— Карл, эта девушка согласна присмотреть за квартирой. Вот ключи, расскажи ей что и как, где уголь и прочее. Условия скажи такие же, как и той уборщице, но не говори, что сто марок, а сто пятьдесят — понял? — одним духом выпалил Федор.

Карл лукаво поглядел на хозяина, молча взял ключи и вылез из автомобиля. Федор сел на его место и включил мотор.

Минут через пять Карл вернулся. Федор знал, что девушка смотрит из окна.

— Вперед, Карл!

Автомобиль дернул. Федор быстро оглянулся и скорее угадал, чем увидел, глаза за занавеской.



И только, когда выехали на берлинское кольцо автострады, вспомнил:

— А шубу-то забыли, Карл!

— Майн Готт, герр майор! Что же делать?

— Ничего, оказывается, совсем не холодно, — и засмеялся. Засмеялся и Карл.

Вскоре по сторонам автострады замелькали однообразные зимние пейзажи средней Германии.

Карл вел машину ровно. Езда успокаивала. Федор стал думать о предстоящей поездке.

Сначала в Лейпциг — надо достать две меховые шубы: одну жене замполита, чтобы «не настучал» на коменданта и на него, Федора, другую — Соне в подарок, — наверное, попрежнему ходит в стареньком, перешитом из маминого, пальто. А потом в Нордхаузен, в дивизию. И снова обрадовался предстоящей встрече с товарищами. Федор в марте 1945 года был ранен в ногу, из госпиталя попал в комендатуру, дивизия расквартировалась в Тюрингии. Его фронтовой друг Вася попрежнему служил начальником связи дивизии. Когда ездил в отпуск, заезжал к Федору в Берлин, но вернулся через Дрезден, так что Федор его не видел. Там и машину можно достать — в Тюрингии осталось много автомобилей — американцы почти ничего не взяли.

Баранов просил еще белья при случае купить. Федор подумал, что и белье для гостя, но полковник даже руками замахал: «И не думай! С ума сошел! Он и так дуется, что я тебе о машине рассказал».

«Да, напуганы они теперь — эти тыловые начальники. Когда летом понаехали, хватали все, что под руку попадалось: кто повыше — такие, как этот, «ответственные товарищи» — целыми вагонами грузили—мебель, ковры, одежду; кто помельче, — ходили

по комендатурам и клянчили из реквизированного, или шарили по оставленным жителями домам, собирая Бог знает что». Федор вспомнил, как однажды комендантский патруль задержал майора-«сабуровца», какого-то заводского диспетчера. Привели в комендатуру. Федор в тот день дежурил. В мешке майора оказались старые платья, грязное белье и пар тридцать рваных чулок. Федору было стыдно перед солдатами, когда те вытряхивали из мешка грязные немецкие обноски.

Вакханалия с «барахольством» в Германии кончилась скандалом: МВД обнаружило в эшелонах с демонтированным оборудованием заводов вещи и мебель, какого-то министра сняли с работы, нескольких заместителей министров и начальников Главков исключили из партии.

Теперь на границе таможня возвращающимся из Германии разрешает провозить ограниченное количество вещей, требуя на все счета или документы.

«То, что сняли с постов и выгнали из партии московских заправил, — это правильно: они и так имели в Москве все в кремлевском и других закрытых распределителях. Но правильно ли было, что других, обыкновенных людей, двадцать восемь лет не имевших ни платья, ни белья, ни чулок, за войну износивших последнее, правильно ли, что солдат, выигравших эту войну, лишили добытой такой дорогой ценой возможности приобрести и привезти домой самое необходимое для себя и своих оборванных семей? И так ли уж виноват тот «майор», когда собирал брошенные старые вещи? Его жена и дети никогда не имели даже такого белья и такого количества рваных чулок!»

Все эти строгости и ограничения на границе совсем

не означали борьбы с ограблением Германии — советское государство продолжало реквизировать и вывозить в адреса своих торговых и промышленных учреждений тысячи эшелонов с оборудованием, товарами, скотом, вещами, мебелью, музейным имуществом. По всем провинциям уже начали организовывать пункты Министерства Внешней Торговли по закупке у немецкого населения драгоценностей, хрусталя, ковров, картин, расплачиваясь за все это райхсмарками, захваченными в немецких же банках. Все это шло в валютный фонд Государственного банка для закупок за границей или для продажи советскому населению, которому, чтобы что-нибудь купить, приходилось работать изо всех сил на то же государство.

Федор даже усмехнулся: «Социализм!» — и вспомнил плачущего старика-хозяина мастерской. Ему снова стало жалко того и стыдно. «Правда, — война, правда, — у нас и таких станков не хватает, правда, что немцы тоже вывозили из Советского Союза, но старика, все-таки, жалко. Как он теперь будет жить? Ужасная путаница. Хорошо им — Баранову, Моргалину, «гостю» и другим; их не трогает ни судьба старика, ни судьба этой старухи, у них просто: воевал с нами — расплачивайся. А эти воевать так же хотели, как и наши». Федор, сколько ни старался, никогда не мог понять «государственных интересов», если «интересы» эти делали людей несчастными.

«Ужасная путаница — политика, государство: люди создали этих уродов, уродцы подросли и стали пожирать самих людей. «Чтоб был человеком...» А что значит быть человеком, когда все перемешалось — понятия, оценки, что хорошо, что плохо. Угождай государству, старайся изо всех сил — убивай, грабь, подличай для него и ты будешь героем, знатным че-



ловеком. И то не всегда: переменит власть направление своей политики — и то, что вчера было хорошо, станет преступлением». Федор вспомнил годы, когда за любовь к России, к русскому, национальному, людей сажали в тюрьмы, расстреливали за «великодержавный шовинизм», теперь за самое крайнее восхваление русского та же власть награждает орденами. А антисемитизм?... Раньше антисемитизм был преступлением против человеческого общежития, а теперь член Политбюро Вознесенский говорит «жид», а заместитель председателя Комиссии Партконтроля Центрального комитета Шкирятов кричит на в чем-то провинившегося замминистра — еврея — «жидовскими штучками стали заниматься», — как об этом весело рассказывал Баранову полковник Елизаров. Вспомнил институт — за пять лет переменилось около десяти профессоров: одних арестовывали, присылали других — те говорили другое, потом арестовывали и этих, присылали третьих, — так что студенты переставали уже что-нибудь понимать! «А историческая школа Покровского!»... «Быть человеком»... Что есть человек? — Материал, песчинка материала в непонятной и чуждой для него политике. Кому сказать, что не понимаешь? Кого спросить? — Нельзя, погибнешь. Жить же, ни о чем не думая, никому не мешая, тоже нельзя: «аполитичность» — государственное преступление. Если нацисты говорили немцам: не думайте, за вас думает фюрер, то у нас говорят: нет, думайте, но думайте так, как думает товарищ Сталин! Попробуй сказать, что не хочешь думать или что не понимаешь!... Хорошо было Робинзону Крузо, — теперь необитаемых островов нет, ни в полном, ни в переносном смысле».

«Какими же мы наивными были в войну! Думали,



что все переменится. Ничего не переменилось. Посушили какую-то волю, обнадежили, чтобы лучше воевали, а как победили, — еще крепче прикрутили гайки».

Федор по какой-то ассоциации вспомнил берлинский ботанический сад: от бомбардировки вылетело стекло крыши, ветки одного дерева, изменив направление, потянулись в отверстие к небу, к солнцу и, выйдя наружу, буйно разрослись. Стали оранжерею ремонтировать: срубили разросшиеся ветки, всунули обрубки вовнутрь, застеклили крышу, и опять дерево стало расти в искусственной атмосфере. «Так и народ — война рванула, нарушила искусственный порядок колхозов, государственной торговли, хозяйства — открылось окно, и народ — крестьянин и городской ремесленник — совсем не капиталист! — без партии, без программ, без «плана», естественным чутьем, инстинктом живого человека потянулся к вольному воздуху и, как после тяжелой болезни, встал и пошел, пошатываясь. Поэты неуверенно, но искренне и вдохновенно запели новые песни, и сразу полюбились они народу. Но кончилась война, срочно стали «ремонтировать» — стали рубить ветки в народе, засунули под крышу «порядка» и замолкли певцы, завели граммофонную пластинку...»

«Я, боевой офицер, должен превращаться в коммивояжера. Или должен демобилизоваться и запрягаться в «стройку». Оставаться в армии — и давать жизнь военной службе — это почти одно и то же: ни тебе свободы, ни покоя... Не обывательского покоя, — нет, нет! И деваться некуда... Вот и ловчишься, чтобы коммивояжерством добыть несколько дней свободы, купить встречу с другом. Демобилизоваться?... Надо будет искать работу где-нибудь на заводе, комнатуш-

ку, годами копить копейки на костюм и книги; если помогут ордена, может быть, удастся устроиться в Москве, но там тоже будет работа с утра до полуночи, раза два в год — театр, редкие встречи со знакомыми, а при встречах будут больше молчать и скрывать свои мысли. Куда ни кинься — везде изматывающая работа, а главное — работа, противная воле, мыслям, инстинкту, только для того, чтобы существовать... Нет, надо задержаться в Германии подольше. Жили же люди — немцы, что им еще было нужно? У нас министры не живут так, как здесь инженеры, а наши инженеры — как здесь рабочие. И как жили: хочешь работай, хочешь — нет, думай, говори, что хочешь. Понадобился же им Гитлер! Правда, авто-страды хорошие построил — автострада широкой лентой бежала под автомобиль, — кое-что и создал для Германии, а кончил все-таки катастрофой. Видно, чувство меры — необходимое качество и в стихах, и в политике. Ведь можно же жить на земле хорошо. Была бы только добрая воля. А может быть, эта воля и есть, но всюду разная. Вот и дерутся, и калечат людей, чтобы доказать, чья воля лучше, забывая, что не люди для нее, а она для людей.

Или я чего-нибудь не понимаю, или в этом есть своя закономерность и неизбежность... «Борьба противоположностей», — как говорят марксисты. Ну, и чорт с ней, с этой путаницей! Пусть мир ходит вверх ногами, если вожди народов уговорили его, что это лучший способ передвижения! Поживем — увидим!»

— Не так ли, Карл?

— Битте?

— Я говорю: давай выпьем и закусим. Что-то холодно.

Федор достал круг салями и бутылку. Разломав колбасу руками, отдал половину шоферу. Отпил два больших глотка и передал бутылку тоже. Карл сделал аккуратный глоток и вернул ее Федору. Стали грызть твердое кисловатое мясо.

Карл отпил из бутылки еще раз. Федор допил. Стало теплее.

Федор принялся устраиваться спать. Уже засыпая, вспомнил глаза «девушки в солдатских ботинках».

— А хорошая девушка, Карл?

— Очень хорошая, герр майор, — сразу поняв о ком говорит Федор, серьезно ответил шофер.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В Нордхаузен приехали вечером. Улицы лежали в развалинах — авиация союзников в поисках завода W-1 и W-2 много раз бомбила город; завод находился в шести километрах под землей, в горе. Делая объезды, расспрашивая прохожих, выехали на освещенную улицу, перегороженную шлагбаумом. Часовой поднял полосатую перекладину, но, разглядев штатского Карла, опустил снова.

Федор вылез и, разминая затекшие ноги, пошел в бюро пропусков.

Скучавший за столом сержант при виде Федора вскочил и радостно заорал:

— Здравия желаю, товарищ гвардии майор!

— Здравствуйте, Голин.

Федору стало приятно, что сержант сразу узнал его. Сержанту было приятно, что майор помнил даже его фамилию. На Федора пахнуло прошлым: огромной семьей дивизии, годами войны, сроднившими и солдат и офицеров. Ему самому было приятно, что он вспомнил фамилию сержанта, хотя тот был из разведки.

— Здравствуйте, Голин, здравствуйте, — он подал сержанту руку, и тот пожал ее со вниманием, за которым Федор, как прежде, угадал солдатское уважение.

— Вот обрадуются наши! — улыбаясь большим



ртом, сказал Голин. — Давно вас не было видно, товарищ гвардии майор.

— Давно, Голин. Целую вечность, будто, не был.

— Разрешите, я провожу вас, товарищ гвардии майор?

— Куда же вы меня проводите? Надо ведь пропуск — я теперь чужой.

— Что вы, товарищ майор, какой вы чужой! О вас даже новенькие знают, — и тут же испугался:

— Этот, у вахты тоже знает, только обличия вашего не знает. Потому не пропустил, — и снова заулыбался. Товарищ гвардии генерал-лейтенант обрадуется.

— Нет, Голин, вы к генералу не ведите меня, а вызовите-ка лучше мне подполковника Трухина.

Сержант с готовностью принялся звонить по полковому телефону, но Василия не было ни на квартире, ни в кабинете. Голин сердился на задержку и кричал телефонистке:

— Немедленно разыщите! Обязана знать, где находится начальник связи! — но телефонистка, видно, ответила такое, что ему пришлось сменить тон:

— Милушка, да его просит товарищ гвардии майор Панин... Ну да... он самый... — и от удовольствия даже подмигнул Федору.

— Теперь мигом найдет. Это наш старший сержант Лиза. Привет вам передает, товарищ гвардии майор.

В комнату вошел незнакомый Федору капитан. По красной повязке на рукаве — дежурный офицер. Покосившись на погоны Федора, капитан козырнул. Постное лицо его задержалось на улыбающемся Голине. Усмотрев нарушение дисциплины, он подчеркнуто официально спросил Федора:

— Вам что угодно, товарищ майор?

Федору стало неприятно, хотя понимал, что новый в дивизии офицер не обязан знать его.

— Мне нужен подполковник Трухин.

— Начсвязи на политзанятиях. Освободится через час.

Сержант посмотрел на Федора, словно просил извинить его за дежурного.

— Спасибо, товарищ капитан. Я подожду. — Федор сел на скамью.

Дежурный, довольный собою, деловито прошел к столу и, делая вид, что занят, принялся рассматривать какие-то списки. Голин наклонился над бумагами.

Резко зазвонил телефон. Капитан взял трубку. Постное лицо его слушало, недоумевая.

— Хорошо, — и уже с любопытством поглядел на Федора:

— Телефонистка передает, что начсвязи сейчас будет.

Голин, стараясь скрыть злорадство, совсем уткнулся в бумаги.

Хлопнула входная дверь, в коридоре загрохотало, и в комнату медведем, в гимнастерке, ввалился Василий:

— Федя! Дружище!

Обнялись и принялись увесисто хлопать друг друга по плечам — нормальному человеку впору свалиться бы.

— Что ж ты, подлец, не предупредил?

— Хотел неожиданно нагрянуть.

— Юберрашунг! Вот здорово!

— А ты потолстел, Вася.

— А ты!

Голин что-то шептал дежурному на ухо.

— Что ж я, дурак, держу тебя! Пошли!

Федор вспомнил о Карле.

— Вася, а с машиной как?

— Поставим в авто-батальон.

— Но у меня шофер немец.

— Это хуже. На территорию городка ему нельзя. Придется в немецкий отель. Я сейчас позвоню коменданту. Не обращая внимания на дежурного, Василий пошел за барьер и стал набирать номер на городском аппарате.

— Говорит подполковник Трухин. Надо одного немца устроить в гостиницу. Что? Это шофер бывшего начальника инженерной службы, а теперь вашего брата-коменданта. Что? Федя, машину тоже с ним? — Федор кивнул. — Да, и машину. Что? С едой устроим. Что?... Запиши сержант, — «отель Бангоф». Спасибо, товарищ капитан.

— Порядок. Пошли, Федя.

Напомнить о пропуске дежурный не решился.

На улице, у автомобиля, разговаривая с Карлом, стоял солдат — Саша, посыльный Василия. Завидев выходящих офицеров, он бросился к крыльцу:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Здорово, Саша. Как жизнь молодая?

— Все в порядке, товарищ майор! Прикажете вещи с собой, или в машине...?

Василий его оборвал:

— Вещи мы сами возьмем, а ты смотайся с шофером и устрой его в гостиницу — дежурный командатуры должен распорядиться.

— Пожалуйста, Саша. Карл парень хороший. Накорми и, вообще, возьми над ним шефство.

— Есть взять шефство!

Пошли по освещенной улице. Весть о приезде

Федора каким-то образом обогнала его — встречные солдаты козыряли — «старики» громко приветствовали, новенькие с любопытством рассматривали. Знакомые офицеры здоровались. У Федора было ощущение, будто вернулся домой.

— Хорошо, Вася, в дивизии. А?

— Хорошо-то оно, хорошо, да не очень — теперь не война. Федя. Ну, да об этом потом.

Василий занимал две комнаты, обставленные случайной мебелью. На этажерке с книгами стояли фотографии, на некоторых Федор узнал себя, и это было приятно.

Василий вышел «распорядиться», как он сказал, а Федор по-домашнему развалился на диване, радуясь предстоящей встрече с фронтовыми товарищами.

Через час друзья сидели за столом, заставленным пищей и бутылками.

Василий всем сказал, что Федор устал и отдыхает.

Они уже начали вторую бутылку. Федор слушал, облокотясь на стол, говорил Василий:

— Вот такие-то дела, Федя. Съездил я, брат, в отпуск, а получился не отдых, а беда. Сам знаешь, на крыльях летел домой — шесть лет не видел! Со станции взял подводу и в деревню. Подъехал к дому, а оттуда Полкан — собака наша, кинулась с лаем, но тут же признала и давай визжать и прыгать, все в лицо лизнуть норовит! Наши-то из окна и увидели. Братишка с сестренкой кубарем с крыльца и на шею. Мать выбежала — Васенька, сыночек мой, а сама плачет, целует и плачет, вцепилась вся, от себя не отпускает, — голос Василия дрогнул от воспоминания, он глотнул слюну. — Постарела, маленькая стала. Соседи сбегаться стали. Потом и отец с поля прибежал. Тоже постарел здорово.



Щека Федора дернулась. Василий угадал, что ему, потерявшему мать, тяжело слушать.

— Ну, что там говорить, — обрадовались наши: и жив, и здоров, и ордена. Одарил всех подарками. Вечером гости сошлись — родственники, соседи — чуть ни полдеревни.

Вот с того-то вечера и началось. Вначале все поздравляли, председатель колхоза речугу даже сказал, девчата деревенские улыбаются, приятно оно, конечно. А потом, то одна баба, то другая стали плакать. Оглянулся я, а кругом все бабы ревут. Сразу-то не понял, а мать мне шепчет: своих мужей и сыновей убитых жалеют. Оказалось, Федя, в деревню из двадцати семи мобилизованных вернулось восемь, да и то трое калек, а один чахоточный. А тут еще Иван Рогов приковылял — без руки и без ноги: «Уго-сти, герой», — говорит, а сам зло так на меня смотрит. Посадил я его рядом с собой, стараюсь ласково с ним, а он пьет водку и молчит. А потом как закричит-то, да давай с себя медали рвать и на пол бросать: «На, — говорит, — тебе ваши ордена, а мне ногу и руку отдай! Какой, говорит, я работник вам — от работы меня никто не освобождает! Вон председателю давай работу, трудодни, а у меня трое ребят, да жена! Что я с культяпками сработаю!» Ну, и получилось с моего веселья не радость, а слезы. Народные слезы, Федя.

Ушли гости, стал я своих спрашивать. И оказалось, жизнь-то, Федя, — это после победы-то, — хуже каторги! Бабы да старики с детворой всю войну, как лошади, ломали, без мужиков-то: на коровах пахали, как рыбы об лед бились, думали: вернутся мужики домой — отдохнут малость, а пришло-то восемь, да и те калеки. Работы же не убавилось, а прибави-

лось. Вот это лето — ломали, гнулись, а начали по осени барыши считать — госпоставки отдали, в фонд армии — дали, в фонд пострадавших от оккупации — отдали, в фонд восстановления дали, а себе — по четыреста грамм на трудодень не осталось.

Обнищали, изнасились. А ждатель-то, говорят, нечего. Газеты, радио, агитаторы из района в один голос — работать лучше, восстанавливать народное хозяйство, крепить оборону и нашу доблестную армию.

Отец мне и говорит: видишь ли, сынок, люди жить хотят. Люди не рабочий скот. До войны все отдавали: и силушку, и хлебушко на подготовку к войне, ни праздника не видели, ни радости, в колхозы пошли — ведь мы понимаем, колхоз — государству удобен: что хошь с мужиком-колхозником делай — будет неурожай — умереть не дадут — государство поможет, это правда, а урожай будет — не разгуляешься, заберут, оставив, чтоб не подохли, а работали, — вот и вся механика. Пришла война, никто и воевать за такую жизнь не хотел, так власть хитра — за Россию воюем, за наших детей! Негласно разрешили и торговлю мужику, слухи пошли, мол, колхозы после войны распустят, церковь разрешили. Горько нам было, когда вы отступали, — ведь не для этого народ столько пятилеток голодал. Ваши наркомы бахвалились: бить врага на его территории, а бить стали нас, да на нашей земле. Настроили заводов да совхозов, да половину отдали немцу. А немец-то сдуру стал лютовать. Что ж было делать — не отдавать же Россию чужому. Мы попервоначально думали, он свободу даст, а он вон как повел. Ну, и простил народ правителям ошибки. И стал против немца всурьез. Думал: и правители ошибки поняли, победим и заживем припеваючи. Воевать-то больше будет не с кем — американец и англичанин

вместе кровушку пролили, братьями стали. Да и земли их далеки от нашей — делить нам нечего. А вышло не так: победили, так правители наши снова за свое принялись, опять криком кричат: империалисты угрожают! Готовься к войне! А я думаю — никто нам не угрожает, просто у наших аппетиты разгорелись, что у того Гитлера, — опять за свое принялись, за коммуны свою мировую. А до русского человека им, — как до той скотины, — работай да и только. Что ж это получается, сынок? Власть-то народная, а проку народу никакого. Выходит, опять маяться до новой войны. Опять рожай, да отдавай сынов и дочерей, опять строй, чтоб потом погибло. И конца этому не видно. А все почему? Потому, что не хотят правители наши жить, как все люди на земле живут.

Что я ему мог ответить, Федя? Чем мог возразить старику? Воевали мы с тобой и не плохо воевали, за родину, за народ воевали, а вышло, что народу победа наша и не нужна... За Сталина, вышло, воевали, — добавил Василий тихо. Подумав, словно про себя, сказал: — Не убили, так убьют в следующей войне — вот наша доля. И сколько ни слушай офицеров, сколько ни смотри — у всех такое на душе. Может, у политотдельщиков и особистов другое.

Он встал и взволнованно прошелся по комнате. Федор все так же сидел, облокотясь на стол, и катал шарики из хлеба. Василий обнял его за плечи.

— Горюй, не горюй, Федя, — ничего не сделаешь. Лучше чеколдыкнем еще по стаканчику.

Федор выпил, не закусывая. Василий взял хвост селедки.

— Вася, а как Соня? — вдруг тихо спросил Федор.  
— Я и забыл, — извини, Федя. На обратном пути



заехал. Обрадовалась твоей фотографии, благодарила за подарок, просила скорей приезжать в отпуск. У нее тоже какая-то петрушка: несколько раз в милицию вызывали; допросы снимали о работе при немцах: когда твоя мать заболела, Соня работала на консервной фабрике, — на немецкую армию, оказалось, работала фабрика. Она боится, как бы не выслали... Говорит — многих арестовали. Как-нибудь обойдется, ты не беспокойся. Если что случится, она сказала, что пришлет телеграмму: больна, мол, опасно, чтоб ты понял...

В городах, где были немцы, такие чистки начались — беда. Как при коллективизации кулаков арестовывали и высылали, так сейчас с теми, кто работал при немцах, или на чьей квартире офицеры немецкие стояли. Много людей бежало с немцами — знали, что им будет. Теперь правительство требует их назад. Те, которых немцы на работу в Германию увезли, многие вернулись. Вот тоже: люди на каторге были, думали, освободили мы, — помнишь, как плакали от радости наши девчата в Силезии, — а вернулись, редко кто домой попал, почти все на Урал да в Сибирь на работу, за проволоку. Пленные тоже — «изменники родины». Многих расстреляли. А за что? Федя, милый, за что? Помнишь, как мы под Житомиром в окружение попали, по вине штаба армии? Ну, не прорвись мы — попали бы в плен: там в штабе ошиблись, просчитались, а мы за это попали бы в «изменники родины». А капитан Орлик, Петя? Орел парень был — хитер, силач, смелый, орденов уйма. К «герою» был представлен. А пошел в разведку и попался. Приказ о награждении «Героем Советского Союза» пришел, а его нет. В «Правде» тогда о нём писали. А недавно генерал рассказывал: освободили



Орлика наши где-то в Саксонии. Как это называется болезнь, когда один скелет и кожа остается?

— Алиментарная дистрофия.

— Ну вот, освободили его, положили в госпиталь. Поправился, а его в СМЕРШ... Ну, и заправили куда-то в Сибирь, как «изменника». А какой он изменник, Федя? Такой же, как мы, может, еще лучше воевал с немцем.

Да что Орлик-то! Маршала Жукова тоже куда-то запрятали! Нам тут один говорил, что маршал «разложился» — дачу, мол, себе на самолетах перевез, мебель, барахло. И кому врут-то? Нам, солдатам Жукова! Пачкают имя маршала! А за что? За то, что о солдатах думал, о народе? Знаешь, говорят, он хотел армии из Германии провести в Союз триумфальным маршем, а Кремль-то и наклал в штаны: пройдут солдаты по стране, послушают такое, как я дома услышал, дойдут до Москвы и скинут там всех к чертовой бабушке! Вот и назначили нам в министры комиссара Булганина. Эх!... Части везут домой по ночам, как воров... Они знают, как мы думаем, знают, Федя. Потому и наслали в армию опять комиссаров да МГБ.

Василий налил в стаканы. Федор выпил, не взглянув на Василия. Тот, забывая закусить, продолжал:

— В соседней дивизии, в Бланкенбурге, один сержант письмо из дому получил — мать побирается, отец с голоду помер, невеста не дождалась и вышла за другого. Парень возьми с горя — всю войну проделал — вышел на круг, прочел братве письмо вслух, а потом у всех на глазах и застрелился. Что там было! Командира роты под суд, командира батальона разжаловали, командиру полка выговор закатили! А за

что? Разве они виноваты, что дома такая чепуха идет?

Да, Федя, такие-то дела. Запутался я, брат, — ничего уже не понимаю. Сегодня — на политзанятиях подполковник Комов, а он не дурак, — говорил, что выхода у нас нет, что жизнь идет так и капитализм должен погибнуть... Что капиталисты из своего кризиса выход будут искать в новой войне и на этот раз уже против нас. Что это логика истории, мол, и Москве известно, что Америка и Англия уже разрабатывают планы войны против нас. И, чтобы выиграть будущую войну, мы должны готовиться и, если надо, самим нападать и захватывать стратегические позиции. А вдруг Москва на самом деле знает, что Америка и Англия готовят войну, — у них и атомная бомба есть! Не народ, не солдаты ихние — мы их видели на Эльбе, — ребята хорошие, мы даже подружились, выпивали вместе, но приехал СМЕРШ и запретил встречаться, а капиталисты хотят войны, чтобы рынки захватить? Что если так? Тогда выходит начальство право, что опять запрягает страну в хомут подготовки к войне? А если не так? Тогда один ответ — Сталин хочет мировой революции! Чтоб при жизни своей сделать. Плевать ему, что она убьет десятки, а то и сотни миллионов людей, ему важна его идея и слава его! Что мы знаем, Федя? Одно я знаю — народ изнемог, измучился. Ведь ему хочется пожить, как говорит мой старик.

Федор взял хлебный шарик, положил на ладонь и стал перекачивать с края на край.

— Пожить... Помнишь, мы были в Балтике или в Финляндии — ведь это тоже раньше, до революции, Россией было. С 17-го года начали они жить самостоятельно, без царя, как и мы. Мы пошли «социали-

стическим» путем, — через нужду, через ликвидацию миллионов людей: «бывших», интеллигентов, националистов, а они пошли с того же, как и мы, места, путем «капиталистическим». И что же мы, Федя, там видели? Крестьяне, рабочие жили, как нашим и не снилось: красивые дома, удобные вещи, сытость, культура, народ довольный, хорошие дороги, станции, фабрики — и все это без плана, без «руководства партии», без жертв, без убийств. Как тут не засомневаешься? Стоило нам там появиться, как все пропало. «Освободили» — нечего сказать! И вот, думаю я часто, а что, если бы февральская революция победила и у нас бы была такая «буржуазная республика» или «конституционная монархия», как в Англии? И народ жил бы, и индустрия была бы не хуже! А?

А может, я не понимаю, Федя? Может быть! Но говорю с тобой, как с другом. Ждал тебя, вот как ждал! Наболело!

Федор продолжал сидеть молча и снова катал шарик из хлеба.

— Может, тебе не интересно, Федя? Может, ты приехал порадоваться, встретиться, а я тебе душу выворачиваю? — опять спросил, садясь рядом, Василий.

Федор катал шарик и не отвечал.

— Что с тобой, Федя?

Федор поднял голову, как-то пристально посмотрел на Василия и тихо, даже странно тихо после горячей речи Василия, заговорил:

— Милый Вася, что я могу тебе сказать? Сочувствую и только. Все это и у меня, и у тебя, и у многих. Ты хоть отца, мать, семью имеешь, а я — один. Соня осталась, выйдет замуж, и будет ей не до меня.

Идет мир какой-то непонятной дорогой. Вот постигла мысль человеческая атомную энергию, а по-



лучилась атомная бомба. Кто знает, может быть, пожрет она и людей, и самое́ землю. А, может, и не пожрет. Может, принесет такие страдания, что опомнится человек и наведет порядок. Через страдания очистится, как говорили раньше. Родились мы, — казалось бы, жить нам и жить, радоваться солнцу, зеленым, любви, детям, а мы — гибнем, убиваем других или готовимся убивать. Кто-то из философов, кажется, Вольтер, говорил о «счастливым времени», когда во главе государств станут не короли, а философы. А что из этого получилось? Раньше философы дрались на словесных поединках, терпели поражения, умирали, умирали их философии, появлялись новые, а жизнь шла своим чередом. А сейчас ошибка философа-правителя стоит миллионов жизней, гибели государств, народов.

Человек от всего этого может спрятаться только в личную жизнь. Здесь, на Западе, это еще можно, и то не надолго, наверное, а у нас это давно — государственное преступление.

Если останется человек на земле, если не погибнет, если в мире жизнь имеет разумное направление — придет она, так или иначе, к такой форме, к какой должна придти. И будут тогда люди смеяться над нами, над нашими муками, как смеемся мы сейчас, например, над нелепостью религиозных войн — тогда тоже гибли люди, вся Европа горела в кострах еретиков. И кажется мне: победит ли коммунизм, победит ли западная демократия — мир все равно когда-нибудь придет к тому, к чему должен придти. Подумай, был бы мир в таком положении, как сегодня, если бы победил Карфаген, а не Рим, или Наполеон, а не коалиция? Был бы! Может быть, советская власть или похожая на нее была бы не в России, а в Китае, Гер-



мании, во Франции, — это сути не меняет, суть в том, что к этой далекой, неизбежной форме жизни в наше время стремятся разными путями: нацизм через главенство одной «высшей» расы, коммунизм — через насилие партийной диктатуры — не диктатуры пролетариата, конечно, — чепуха! Демократия — самотеком, реформами. Первый путь — лопнул, потому что нес с собой неприкрытое рабство для остального, не немецкого человечества, возмутил народы. Остался коммунизм и демократия.

Кто победит — не знаю, Вася. Знаю одно — хочу жить, но жить негде. Ты говоришь: народ, народ! Если ты думаешь о нем иначе, чем власть, значит, ты противник власти и подлежишь расстрелу. Я мало понимаю в политике, но в жизни чувствую, что я несчастен. И ничего не вижу для себя хорошего. Зачем я пошел в Инженерный институт? Ведь я точные науки не очень люблю. Мне бы на литературный факультет идти. А потому, что думал: инженерной работы много, гиганты индустрии собирались строить, размах и поэзия строительства пленили. Еще думал, что работа моя нужна, и я буду нужен, а поэтому буду иметь больше внутренней свободы, больше независимости. И ничего из этого не вышло: инженер ли, поэт ли — все равно — раб государства!

Сейчас, чтобы жить, надо отказаться от жизни. А я, как и ты, не можем от нее отказаться, вот нам и тяжело. А посему — давай выпьем, Вася, сердцу будет веселей! — Федор стал наливать в стаканы. Рука его дрожала.

Хмелея, он бледнел. Василий же сидел красный, как после бани.

— Федюшка, друг мой, до чего же трудно жить

стало! Я часто уже жалею, что и учиться в техникум пошел. Сейчас, чем меньше понимаешь, тем лучше.

— Может быть, ты и прав, Вася. Много отдал бы я сейчас за семью, да все как-то не получается.

— Ну, так я тебе и поверил. В Берлине, чай, бабы так и бегают за тобой! Знаем тебя!

— Нет, Вася. Все это не то! Душа просит большое, а ей подсовывают приложение к двуспальной кровати. Где-то же есть «она»? А, Вася?

— Обязательно есть, Федя!

— Знаешь, как в песне, — хорошая эта песня, Вася:

«Жаркою страстью пылая,  
Сердце тревожно в груди,  
Где ты — тебя я не знаю,  
Но наша любовь впереди...»

Василий басом подхватил, друзья обнялись и занели вместе:

«Далека ты, путь-дорога,  
Выйди, милая моя,  
Мы простимся с тобой у порога,  
Ты мне счастья пожелай...»

С этой песней в тысяча девятьсот сорок первом году они ехали к фронту, на позиции.

— Эх, Федя! Вот только в песне и выльешь душу!

Пели еще. Все больше народные, тоскливые и печальные песни. Живет в русской песне вековая тоска, рожденная где-то при татарском иге, в дремучих лесах и в бескрайных степях. Многое переменялось на русской земле — дымят громадины новых заводов, тарахтят по полям тракторы и комбайны, а тоска в песне все та же.

И так же, как сотни лет тому назад плакал под

песню удалой молодец, так же вдруг заплакал Василий и полез целоваться.

— Федя, друг мой сердечный! Только ты и есть у меня! Один ты понимаешь.

Вошел Саша. Улыбаясь, браво доложил:

— Все в порядке, товарищ майор: Карл устроен, накормлен, даже сто грамм получил.

— Молодец, Саша. Иди сюда — выпей с нами, — Федор протянул солдату свой стакан с водкой.

Саша покосился на Василия, но тот махнул рукой.

— Вы бы прилегли, а то утром к генералу идти.

— Правильно, Саша. Укладывай. Я на диване устроюсь.

Через пять минут в комнатах стоял богатырский храп, да ходил Саша, убирая со стола.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Входи, герой, входи.

Был генерал сед, широк в кости, красное лицо из-за седых нависших бровей казалось суровым.

— Здравствуйте, товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Федор, свежес выбритый, в новом кителе, радостно смотрел на генерала.

— Здравствуй, герой. Рад видеть тебя, — генерал задержал руку, оглядывая Федора. — Все таким же молодцом — это хорошо. Извини, что вчера не принял, у нас, брат, заседания за заседаниями — днем учение, вечером мучение, — генерал любил говорить в рифму, подражая Суворову.

Из двери справа в комнату вошла маленькая, полная, в широком темносинем платье жена генерала — Наталия Николаевна. Карие молодые глаза делали скуластое, простое лицо ее приятным и по-своему красивым.

— Федюшка! Вот сюрприз-то! Здравствуй, дорогой. Я и то говорю своему, — нет у него такого офицера, Федя! И краснеет все так же. Ну, пойдете к столу.

— Я вам маленький подарок привез из Берлина, Наталия Николаевна, — Федор неловко передал банку икры и семгу. — у нас в Берлине открылся «Гастроном»...



— Спасибо, Федюшка, спасибо, милый.

Генерал занимал большую виллу: стильная мебель, ковры, много цветов, на стенах гравюры Дюрера.

— Хорошо мы устроились, герой? А?

— Уж и хвастается. Ты его, Федя, не слушай. Все это чужое и нам не нужно — Бог с ним. Вы кофе или чай будете?

— Ну нет, мать! Ты это брось — приехал герой, а ты нас чаем. В Польше говорят так: «пусть чай гуси пьют», мы ведь солдаты, а не гуси! Ты нам настоечки своей поднеси.

— Господи, да ведь утро-то! — Наталия Николаевна знала, что без настойки и наливки не обойдется, и уже приготовила в буфете, но для порядка на стол не подала.

— Славился Нордхаузен ликерами, а не устоять им против наташиной наливки. — Наталия Николаевна расставляла рюмки и ей было приятно слушать похвалу мужа. — Прислал мне комендант города коллекционных ликеров от фабриканта — хозяина этой виллы. Попробовал я — ничего. А я ему наташиной наливочки послал, так, по рассказам, только и говорил: херлих, вундербар, и все рецептом интересовался!

— Да хватит тебе хвастаться-то, — остановила мужа явно довольная Наталия Николаевна.

— Ну, герой, выпьем за нашу боевую дружбу! Наташа, а ты что? Выпей, выпей с нами.

Наталия Николаевна налила себе маленькую серебряную чарочку, свою.

— Выпьем за победу России, за великую Россию — вот она какая стала — от Китая до Средиземного моря! А скоро и больше будет! Будет, герой?

Федор промолчал. Настойка была крепка и ароматна, на какой-то пахучей траве или ягоде. Стали

завтракать. Наталия Николаевна больше подкладывала Федору, чем ела сама. Ей всегда доставляло удовольствие угощать Федора и смотреть, как он ест. Генерал ел тоже много, то и дело подливая себе и Федору.

— Ты что, отпуск получил?

— Никак нет, товарищ генерал. Так сказать, в служебной командировке.

— Проездом, значит?

— Нет, к вам, вернее в Нордхаузен. Одному замминистру машину послали достать.

— Вот оно как! — явно недовольно протянул генерал. Федор стал оправдываться:

— Теперь время другое, товарищ генерал, — не война. Из госпиталя в хозяйственники в комендатуру послали, вот и делаешь, чорт знает что. Хорошо, что в дивизии побываю, вас встретил, Василь... подполковника Трухина.

— Это, конечно, хорошо. Но как же они посмели, сукины сыны, боевого офицера — в хозяйственники?

— Говорят, что инженеры должны быть использованы по хозяйству — у меня сейчас все заводы и фабрики района.

— Ну, а причем автомобиль?

— Комендант карьеру себе будущую делает, — криво усмехнулся Федор.

— Сукины сыны! — рассердился генерал. — Слышь, мать, офицера сделали... — я даже слов не подберу — кого они из него сделали!

— Что ж ты можешь? Напиши в штаб группы или Соколовскому рапорт, может быть и переведут назад в дивизию.

— Да, переведут, держи карман шире. Они мне такого начальника инженерной службы прислали, хоть

вой! Да ничего не поделаешь — Политуправление за него, член партбюро.

— Надо терпеть, товарищ генерал, — демобилизуют — дома хуже будет, — сказал мрачней Федор.

— Да-а-а... Ну, а где же машину достанешь?

— Подполковник Трухин уже договорился с комендантом: где-то в шахте есть «Мерседес-Компрессор» запрятанный.

— Как же он, твой министерский, «Компрессор» себе оформит, ведь такие машины теперь не оформляют?

— Это уж коменданта забота.

— Ну, а себе машину купил?

— Купил товарищ генерал, «Опель-кадет».

— Что ж такую пиголицу?

— Нам, майорам, разрешают только четырехцилиндровые.

— Вот и мне разрешили шестицилиндровую, а я купил и хочу оформить «Хорьх», а он восьми цилиндров.

— Это можно устроить, товарищ генерал.

— Как? Ведь мне Военный Совет отказал.

— Блат сильнее Военного Совета, товарищ генерал.

— Вот это здорово! — генерал расхохотался. — Мать, слышишь, герой и здесь героем оказался — моего «Хорьха» нам оформит!

— Да на что он тебе? Когда и где ты будешь на нём ездить? У нас и дорог-то нет для него.

— Ничего, мать. Какой же я генерал-победитель без трофея? Значит, поможешь, герой?

— С удовольствием, товарищ генерал. Если этим министерским крысам придется делать, то как же мне для вас не сделать.

— Ну, спасибо. Я должен уже итти. Ты посиди

с Наташей, обедать приходи, вечером потолкуем обстоятельнее.

Федор остался с Наталией Николаевной. Перешли в ее комнату. Здесь она, видно, проводила часы одиночества: вязала, вышивала, на столе лежал неоконченный пасьянс.

Она женским чутьем угадывала в Федоре какую-то нервность.

— Что, Федюшка, что-то не так на душе? Брав-брав, а в глазах тоска.

— Ах, Наталия Николаевна, все как-то вверх ногами идет. Что делать, и не знаю.

— А ты женись. Пора семьей обзаводиться. Отвоевал — теперь семью строй.

— Да на ком жениться-то, Наталия Николаевна? Ведь Германия.

— А ты в отпуск съезди, погуляй, может быть, встретишь хорошую девушку.

— Это за отпуск-то?

— Да, твоя правда, Федя. Трудно судьбу свою найти, а поспешишь — людей насмешишь и век будешь каяться.

Рядом зазвонил телефон. Наталия Николаевна вышла:

— Я слушаю. Здравствуй, Вася. Здесь, здесь. Это тебя, Федя.

Василий сообщил, что машина уже в мастерской, но без покрывшек и требует легкого ремонта.

Расставшись с Наталией Николаевной, Федор поехал в мастерскую.

Задерживаться на два — на три дня без разрешения коменданта он не решался. Позвонил в Берлин. Баранов, видно, подумал, что Федор загулял, но, услышав о «Мерседесе-Компрессоре», разрешение дал.



После обеда Федор поехал в бывший свой батальон. Новый командир его встретил сухо, но Федор имел разрешение генерала.

Солдаты были в классах. Дневальный попался из новеньких и Федора не знал. Но, когда кончились занятия и из учебных классов стали выходить, застегивая сумки, офицеры, за офицерами повалили солдаты, Федора окружили, пожимали руки, расспрашивали. Есть в солдатской дружбе, спаянной войной, что-то необычайно чистое. Федор угадывал много нового, чуждого ему, но он гнал это от себя и весь отдавался радости встречи с боевыми товарищами.

Следующими были строевые занятия. Солдаты стали надевать шинели и выходить на площадь. Федор вышел с ними и стал прощаться. И вдруг старшина Митюков крикнул: «Братцы, качать гвардии майора!» И сразу десятки рук подхватили Федора, и он полетел вверх, потом вниз. Крепкие руки, которые строили с ним переправу через Днепр, через Березину, через Одер, поймали его — и снова взлет, снова падение, и снова небо, и снова руки, крепкие, мускулистые руки солдата.

— Становись! — раздалась команда. Солдаты, оставив растрепанного Федора, стали торопливо строиться.

— До свиданья, товарищи! — взволнованно крикнул Федор, и ему вдруг показалось, что он больше никогда не увидит их.

— Счастливого пути, товарищ майор! До свиданья! Не забывайте! — раздалась десятки голосов уже выстроившихся солдат. И Федору показалось, что и они это знают. Он круто повернулся и пошел к автомобилю.

Вечером у генерала решили, что Василий через три

дня с бумагами на генеральский «Хорьх» поедет на «Мерседесе» в Берлин. Федор его встретит и устроит генералу паспорт и пропуск на «Хорьх».

Шили настойку, ели, вспоминали боевые времена. Генерал захмелел и казался сердитым, — густые брови совсем закрыли глаза.

— Никогда не прощу ни себе, ни армии воровства твоего награждения, герой! — он называл Федора «героем» с тех пор, как тот во главе своего батальона, под огнем авиации и артиллерии немцев, построил переправу через Березину, потом отбил атаку пехоты, продержался до подхода танков, за что был представлен генералом к «Герою Советского Союза». Федора наградили только орденом Ленина.

— Будь ты партийный, носить бы тебе золотую звезду. Но для меня ты был, есть и будешь героем!

— Был, да скис, товарищ генерал.

— Что так?

— Запутался, отстал от армии, или почему другому, может, от войны устал — не знаю.

Генерал поднял брови, и стали видны его неожиданно голубые, по-детски ясные глаза.

— Вот оно что! А ты, мать, говоришь — женить. Тут похуже, — он посмотрел на Василия, — этот тоже гнуться стал.

Брови опустились. Генерал расстегнул ворот.

— Да-а-а... Так вот, что я вам, орлы, скажу: жизнь в наше время пришла в такое положение, что стала, как армия. Вся страна — армия, все население — солдаты. Правильно или нет, не наше дело, есть приказ — выполняй! Дисциплина армии — нелегкая штука, но привыкнешь и не замечаешь — всю жизнь проживешь, не подозревая, что можно жить иначе.

Но, случается, нет у человека призвания к военной службе, не лежит душа, а его на действительную призвали. Трудно его сломать — целая наука! Не привыкнет: или убежит — тогда военный трибунал, или калечит себя — тоже трибунал, или самоубийством кончает. Вам это плохо известно — вы офицеры хорошие, но военного времени. Так сейчас и в жизни: не можешь приспособиться — погибнешь. Убежать из жизни некуда. Единственное спасение — не рассуждай, верь в устав, выполняй приказы! И только так.

— Разрешите, товарищ генерал, — не выдержал Василий, — почему же одни мы на свете должны жить, как армия? Почему другие живут без казармы?

— Это уже рассуждение. Я сказал — без рассуждений. И кончим об этом. Ты как, герой, стихи все пишешь?

— Пишу, товарищ генерал.

— Вот это хорошо, но только, если для себя. В себе и поэзией можно заниматься, выносить на люди — или поэзия погибнет, или сам погибнешь. А теперь, орлы, спать. Не забывайте, что говорил про армию, — и опять поднялись седые брови и опять стали видны его по-детски голубые глаза.

— А еще на прощанье скажу вам стихами, хотя и не к лицу генералу лирические стихи:

«Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои,  
Пускай в духовной глубине  
И всходят и зайдут они».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рано утром Федор уехал в Лейпциг. После Рождества немцы еще не торговали, но без шубы замполиту Баранов сказал не возвращаться. Федор шел по Николайштрассе, когда его кто-то окликнул. У тротуара стоял автомобиль, из окна махала чья-то рука. Федор узнал жену Марченко.

Марченко знала в Лейпциге все торговые фирмы и магазины, так что через два часа Федор купил не две шубы, а три — черные, под котик. Хозяин магазина вначале не хотел продавать, но Марченко напугала его, шепнув, что Федор из комендатуры, — хозяин подумал, что из комендатуры Лейпцига. Третью шубу он купил для продажи: в Союзе такая шуба стоила около десяти тысяч рублей, здесь же — всего восемьсот марок — четыреста рублей. Это была спекуляция, но Федор не думал об этом — так поступали все.

Покончив с покупками, он хотел пообедать и ехать домой, но Марченко настойчиво приглашала его отобедать к себе, — они жили под Ошатцем, по дороге на Дрезден. Федору ехать не хотелось, но и возвращаться в комендатуру, имея разрешение полковника еще на два дня, тоже не хотелось. К тому же пообедать в Лейпциге приезжему офицеру было очень сложно — надо ехать к дежурному городской комендатуры, объяснить причину приезда в Лейпциг, ехать за талонами,



потом в отель «Фюрстенгоф», а там и время обеда могло кончиться. Шофера накормить было совсем невозможно. И проголодавшийся Федор согласился ехать к Марченко.

Всю дорогу Марченко, пересевшая к Федору, не переставая, говорила, так что он обрадовался, когда показался Ошатц.

Марченко жили на территории большой демонтируемой фабрики. Въехав в ворота, Федор увидел огромные ящики с машинами, котлами и трубами. На снегу вокруг ящиков копошились рабочие — мобилизованные жители и рабочие фабрики. Ящики подтягивали к полотну железнодорожной ветки, готовясь к погрузке.

В кабинете Марченко, куда прошел Федор, толпились какие-то военные. По разношерстной форме, сшитой из немецкой серой или зеленой материи, по неумению носить ее и по отсутствию наград Федор сразу узнал «сабуровцев». Демонтажников присылали в Германию в военной форме: директоров и инженеров — полковниками, подполковниками, майорами; техников и начальников цехов — капитанами и лейтенантами, мастеров и рабочих — сержантами и солдатами. В армии не любили «сабуровцев» за их принадлежность к «тыловикам», за офицерские погоны и при случае издевались над ними.

Однажды в комендатуре Федор впервые встретил одного такого «полковника» — маленький, сгорбленный, в мешковато сидящей, не по росту солдатской форме с полковничьими погонами, тот стоял перед развалившимся в кресле дежурным — лейтенантом Киселевым и о чем-то робко того просил. «Ну и что вы от меня хотите?» — грозно спрашивал Киселев для пущего удовольствия сидящих тут же солдат комен-

датуры. «Полковник» оказался профессором исследовательского института керамики. Марченко был таким же «полковником», но, зная военную службу в прошлом, понимал, какую власть давали ему полковничьи погоны, и держался с достоинством настоящего полковника.

— Федорушка, вот здорово! — обрадовался он.

Федор за дорогу продрог, был голоден и с удовольствием набросился на еду. Марченко и слышать не хотел об отъезде в Берлин.

— Успеешь! Работа не волк, в лес не убежит. Погости денек-другой. Завтра охоту сорганизуем. А?

Федору и самому не хотелось уезжать. Он чувствовал симпатию к этому стареющему добродушному человеку, любившему его за молодость и силу, за все то, что любил сам Марченко в жизни и безвозвратно потерял.

— Сейчас начало первого. Ты ложись и отдыхай. А я закончу со своими сводками и графиками — даже здесь в Германии нет от них спасения. А вечером устроим встречу чин-чином.

Федор был рад остаться один, он устроился на диване и принялся рассматривать книгу об Олимпиаде 1936 года.

Он видел эту книгу много раз — она была почти в каждом немецком доме. Но ему нравилось рассматривать фотографии того, что принадлежало к неизвестному, запретному для него миру. В Берлине он собрал много немецких журналов за последние тридцать лет и часами рассматривал их и читал. Английские и американские журналы попадались редко, французские чаще, но больше полупорнографические, из тех, что навезли в Германию гитлеровские солдаты.

Где-то за стеной играло радио. Тепло комнаты разморило, и Федор незаметно уснул.

А когда проснулся, не сразу понял, где находится: незнакомая комната, за окнами темно и музыка радио за стеной.

За дверью слышался шопот. Федор увидел, как стала приоткрываться дверь, потом показался смуглый лоб, смоляные гладко причесанные на пробор волосы и смеющиеся глаза. Он узнал Рыльскую.

— Да он не спит! — в комнату, свежая с мороза в коричневом платье, гладко облегающем тело, вошла Екатерина Павловна.

Федор вскочил, застегивая воротник.

— Здравствуйте, соня. — В воздухе запахло хорошими духами. За Рыльской показалась Марченко:

— Ну, гость дорогой, куда же это годится: приехал и завалился спать на целый день! — глазки ее бегали с Федора на Рыльскую.

— Что пристали к Федорушке! Поспал с дороги — и слава Богу, — вошел Марченко. Он был в брюках, белой рубахе без воротничка, на ногах — домашние кофровые туфли. — У него теперь аппетит за пятерых. Посему скорей к столу. Мария Ивановна хотела тебя будить, но я не дал. Пойдем, пойдем, жена, готовить стол.

Рыльская села за стол, вытянув перед собой в глухих рукавах руки, и молча смотрела на Федора помолодевшими глазами.

— Вы довольны, что я приехала? — Кончики ее пальцев дрожали.

— Очень рад, Екатерина Павловна, — стараясь не впасть ей в тон, ответил Федор, стараясь понять совпадение их приезда к Марченко.

— Вы долго здесь будете гостить?



— Завтра уезжаю.

— Жалко, а я думала, Новый Год будем все вместе встречать у Николая Васильевича. У них здесь хорошо.

— К сожалению, мне надо возвращаться в комендатуру.

— Тогда давайте встречать у Барановых?

— Не знаю, Екатерина Павловна. Так далеко... Еще три дня, всякое может случиться...

Рыльская посмотрела перед собой:

— Да, вы правы — всё может случиться...

— Федя, Екатерина Павловна! Прошу к столу, — позвал из соседней комнаты Марченко.

На большом квадратном столе были расставлены богатства русской кухни: заливной поросенок, икра, соленые грибы, квашеная капуста с яблоками, огурцы, селедка под лучком, нарезанные колбасы и ветчина, хрен и другие закуски; между блюд симметрично стояли два графина с водкой.

Федора и Рыльскую посадили рядом, по одну сторону стола.

— Начнем с маленькой, — священнодействуя, пробасил Марченко.

Первую рюмку выпили за здоровье хозяйки. Вторую за гостью. Немецкая девушка в белом переднике подала рассольник с кулебякой. На второе был тушеный, нашпигованный салом заяц. За зайцем последовали пельмени. Все это сопровождалось немецким столовым вином, от которого мужчины сразу же отказались и пили водку, настоянную на лимонной корочке.

Потом пришли двое приглашенных для компании: начальник демонтажа соседнего завода — лысый, угловатый человек в форме полковника, с лицом неподвижным и тоже угловатым, и помощник Марченко — мо-



лодой веселый парень с черным чубом, с погонами капитана.

О первом Федор слышал от Марченко в Берлине. Старый член партии, участник гражданской войны, служил в Министерстве Пищевой промышленности в какой-то незначительной для его партийного стажа должности, куда его назначили за «заслуги перед революцией». Марченко рассказывал, что Шатов, так звали соседа, пьет запоем и известен в Ошатце тем, что, напившись, ходит ночью с автоматом по улицам и пугает стрельбой немцев, жителей поселка.

Часа через два настроение было подогрето. Принесли шампанское и фрукты, привезенные, как догадался Федор, Рыльской.

Она предложила тост «за исполнение наших желаний» и посмотрела на Федора.

— Ура! — закричал уже захмелевший Марченко. Федор чокнулся с Рыльской и, отводя взгляд, вдруг увидел возле себя освещенную полноватую шею и начало груди в разрезе платья, и сразу же мысленно увидел плечи и грудь. Он посмотрел ей в глаза, чокнулся еще раз и залпом выпил. Рыльская пила медленно, будто обдумывала или решалась на что-то.

Шатов пил мрачно и молча. Помощник Марченко бегал на кухню «помогать» немке, после чего та входила раскрасневшаяся и избегала глядеть на хозяйку.

Марченко стал предлагать выпить «за красу и гордость Красной армии — Федорушку». Он заметно опьянел. Мария Ивановна подвинула свой стул к Федору.

— Федор Михайлович, вы мне обещали адрес, где можно достать настоящий персидский ковер. На продукты или на деньги — все-равно.

Федор не помнил, когда он обещал ей адрес, но, чтобы отвязаться, назвал знакомого немца.

— Может быть, вы и записочку напишете, Федор Михайлович?

Федор полез за блокнотом в задний карман и, повернувшись, нечаянно коснулся коленом ноги Рыльской. Он хотел отодвинуться, но что-то удержало его, и он сделал вид, что не замечает.

— Так вот и живем, Федорушка! Подальше от царей — голова целей. Гуляй, танцуй, что твоей душе угодно — никто не настучит!

И еще что-то говорил Марченко, что-то говорила Мария Ивановна, что-то отвечал Федор, он и записку написал уже, но все его сознание было сосредоточено в месте прикосновения колена с теплой и упругой ногой Рыльской. словно через это место в него вливалось какое-то тепло, отчего напрягалось тело и таяла воля. И когда молчавшая Рыльская пошевелила ногой, он не задумываясь сделал то же, и она сразу же ответила едва слышным, будто случайным, встречным движением. И он посмотрел отрезвевшим взглядом ей в глаза и увидел в них твердую решимость и серьезность, с какой солдаты ходили в бой, и вдруг понял, что что-то случилось такое, от чего он уже не имел права уйти и обидеть эту женщину. Именно — обидеть, он так и подумал. И она это поняла и побледнела.

— Федорушка! Милый! Давай споём! Катюша, что будем петь? Какие же мы русские без песни! А?

Рыльская молча встала и отошла к окну.

— Давайте, но что?

— «Огонек», — предложила Марченко.

— Давайте «Огонёк». Запевайте, Федор Михайлович, — словно приглашая на что-то значительнее, чем

песня, сказала Рыльская, становясь спиной к окну. Она была спокойна и очень красива на фоне красной бархатной гардины.

Все замолчали и смотрели на нее, не узнавая.

Федор поглядел перед собой в тарелку и запел. Контральто Рыльской присоединилось, потом подхватили Марченки, и помощник.

«На позицию девушка провожала бойца.

Поздно ночью простилися на ступеньках крыльца,

И пока за туманами видеть мог паренек,

На окошке, на девичьем все горел огонек...»

Федор пел, не отрываясь от тарелки, чувствуя на себе взгляд Рыльской.

К концу песни Марченко только мычал и, раскачиваясь в кресле, дирижировал вилкой.

Шатов тихонько пересел в кресло у книжной полки и слушал. Лицо его было так же неподвижно, только по лбу пошли красные пятна. Он взял с полки какую-то книгу иллюстраций и, положив на колени, медленно перекладывал листы, будто разглядывал не книгу, а как она устроена.

— А знаете, как у нас в Ростове поют «Огонек»? Продолжение? — весело спросил помощник, когда пропели последний куплет. Было видно, как ему хотелось поразить собравшихся.

— Давай! — пьяно махнул вилкой Марченко. Помощник озорно повел глазами и потрянул чубом:

«Но вернется с позиции победитель-боец,

Выйдет ноченькой темною на знакомый крылец,

И поймет, догадается фронтовик-паренек,

Что другой уж прикуривал об его огонек».

Марченко так и грохнул:

— Вот это да! «Другой прикуривал»! Молодец!

Рыльская села.

— Как вам нравится продолжение, Федор Михайлович?

— А вам?

— Бывает. Такая уж солдатская доля! — и засмеялась.

«Думает, что у меня дома осталась девушка», — подумал Федор и тоже рассмеялся.

Вдруг Шатов громко хлопнул книгой и встал, пряча в карман «вечное» перо. Зачем ему понадобилось перо, никто не заметил.

— Пойду, — и, не прощаясь, тяжело пошел к двери.

Хозяйка рукой показала помощнику проводить Шатова. Тот понимающе мотнул чубом и исчез.

— Ну, теперь совсем по-семейному давайте! Что будем петь? Катя, Федя!

Федор и Рыльская оглянулись. У Федора кружилась голова, он уже ничего, кроме Рыльской, не видел.

— Я слышала, что вы пишете стихи, Федор Михайлович? Прочтите нам что-нибудь.

— Давай, Федя, скажи-ка такое, чтоб знали наших!

Рыльская смотрела на Федора, уже не скрываясь от хозяев.

— Хорошо. Не знаю, понравится ли вам:

«Все ищут себе места в жизни:

Кто в несколько га плодородной земли,

Кто площадью в две-три комнаты,

Кто кресла международной конференции,

Кто в несколько строк большой газеты,

Что называется Славой,

Кто уголка живого влюбленного сердца,

Кто — о, дерзкий! — переменчивого места

В Бессмертии.

А я говорю вам: нет на земле лучше

Места,



Площадью моего тела  
 (Вам надо того меньше)  
 На зеленой траве  
 В тени придорожного дерева,  
 Или скамьи городского парка;  
 Что нет лучше для глаз места,  
 Как свободное для всех небо,  
 И еще — теплая глубина глаз  
 Влюбленной женщины».

В комнате в углу стояло пианино. Марченко не играла. Инструмент был оставлен «для мебели». Чтобы ответить Федору, Рыльская села за него и запела:

«Мой голос для тебя и ласковый, и томный...»

Федор налил два бокала и подошел к ней. Закрыв ее собой от Марченко и глядя в поднятые к нему глаза, ставшие вдруг беспомощными и влажными, он молча протянул бокал.

— За вас, Федя, и за... себя, — тихо проговорила она.

Федор выпил и вернулся на свое место. В голове шумело. Марченко что-то говорил и смеялся. Федор ясно услышал имя Рыльского и ему сразу стало нехорошо от того, о чем было уже решено. Мучительно захотелось избежать идущего с ночью. Он принялся пить из двух бокалов, сам с собою чокаясь.

Рыльская угадала его бегство и старалась помешать. Марченко кричал:

— Федя, не сдавайся! Федя, пей! — и, попытавшись подняться с кресла, вдруг свалился на пол, продолжая кричать:

— Федя, не сдавайся!

Федор с трудом поднял грузное тело и понес в спальню — хозяйка поддерживала ноги. Марченко пьяно хохотал и блаженно мычал.

Потом хозяйка провела Федора в его комнату и, будто невзначай, показала на стеклянную дверь:

— А здесь Екатерины Павловны комната.

«Сводня», — зло подумал Федор и, ничего не ответив, пошел обратно в столовую.

Рыльская сидела на диване, курила и казалась совсем трезвой.

— Садитесь, Федор Михайлович, — думая о чем-то другом, сказала она, подвигаясь. Она не смотрела на него, а словно к чему-то прислушивалась или чего-то ждала.

Федор сел вплотную к ней и, почувствовав ногой ее бедро, вдруг решился: взял за округлые плечи, повернул к себе и прижался губами к ее рту. Губы Рыльской были холодные и сухие. Она закрыла глаза и казалась ему пьющей птицей.

Потом отпустил, зажмурил глаза и провел рукой по лицу. Екатерина Павловна была бледна, у губ и носа лицо казалось сильно напудренным. Она хотела что-то сказать, но задохнулась, судорожно сжала его руку и, не сказав ни слова, даже не взглянув на него, выбежала из комнаты.

Федор закурил. Зачем-то пошел к зеркалу. На него смотрело до неузнаваемости напряженное лицо.

— Опять? — спросил он, — изображение передразнило.

— Ну, и черт с тобой! А больше всего со мной! Так? — изображение повторило.

— А поэтому выпьем! — он налил в чей-то бокал вина и вернулся к зеркалу.

— Прозит, лишний человек XX века! — изображение чокнулось и выпило.

И, как это случалось с ним не раз после сильной выпивки, его вдруг охватил животный голод, он стал

поедать с тарелок подряд — холодное мясо, огурцы, колбасу. Насытившись, закурил и сел в кресло у полки, где сидел Шатов. На столике рядом лежала книга, которую тот рассматривал. Федор взял ее — это были репродукции картин Микель-Анджело. На первых литографиях по диагонали были сделаны надписи чернилами. Федор вспомнил «вечное» перо в руке Шатова. Он долго не мог понять, что значили надписи, а когда понял, то не сразу поверил. На «Адаме» стояло — «расстрелять», на «Еве» — «взять на ночь», на других — «выяснить», «в трибунал», «в расход». Слово резолюции.

Федору показалось, что он сходит с ума. Он встал, замотал головой, оглянулся — мертвый электрический свет освещал беспорядок стульев, залитую скатерть, остатки еды на тарелках. Он потушил папиросу и пошел к себе.

Проходя мимо кухни, услышал шопот помощника, по-немецки:

— Утром уберешь. Пойдем.

В комнате Екатерины Павловны горел свет. Федор принялся медленно раздеваться, все время думая о том, что ему нужно идти туда. Идти не хотелось, но идти было нужно — он должен был идти, будто бы на это был приказ и он не мог нарушить его. Он прилег подумать об этом и... провалился.

Проснулся от каких-то звуков. В темноте над ним белым привидением стояла Рыльская. Федор сделал усилие сбросить с себя сон, но в голове шумело и болезненно хотелось спать.

— Я... сейчас... сейчас... иду...

Она повернулась и стала удаляться к своей двери. Федор услышал сдерживаемое рыдание и сразу проснулся — теперь он должен был идти! И он пошел.

К себе Федор вернулся, когда окна стали синими. Потом, сквозь сон, где-то рядом звонил телефон. Никто не подходил, и телефон звонил с перерывами, ровно, словно дышал. Вставать не хотелось. Федор услышал чьи-то шлепающие шаги и сонный и хриплый голос Марченко:

— Слушаю... Да, я... Кто? Аркадий, ты? Здравствуй, дорогой... Катя у нас, у нас, не беспокойся... — В голосе была фальшь, и Федор сразу все вспомнил и поморщился, как от боли...

— Что?... Спит еще — мы вчера поздно засиделись... Разбудить?... Пусть спит. Моя тоже еще спит... Что? Приедешь?... Ты где?... В Торгау? Так это же рядом! Приезжай к завтраку... Прошу. Ждем. Пока! — В голосе уже была растерянность.

Федор лежал и думал, что в комнате рядом Екатерина Павловна тоже не спит и слушает разговор Марченко с мужем. «Сейчас приедет он...» — ясно увидел за столом Рыльского, себя, растерянного Марченко, бегающие глазки Марии Ивановны и Катю. Он зарылся лицом в подушку. «Нет-нет, сейчас же вон отсюда!» — и вскочив, стал одеваться.

«Бежишь? Напакостил, а теперь мужа испугался?» — стало совсем нехорошо. Потихоньку отворил дверь к Екатерине Павловне. Она лежала на спине, черные волосы на подушке были разметаны, бледное, похудевшее лицо казалось моложе. Глаза встретили Федора, словно ждала, что он войдет.

Пересилив неловкость, он подошел и сел на край кровати. Екатерина Павловна взяла его руку и прижала к теплой шее.

— Я должен уехать. Так лучше.

Она закрыла глаза и прижала руку сильнее.

— До свиданья... Катя...



Открыла глаза, перехватила руку у плеча и зашептала жарко и устало, прямо ему в лицо:

— Федя, я люблю тебя. Я всю жизнь ждала тебя, Федя, и не могу, не могу теперь жить без тебя!... Когда вчера мне позвонила Мария Ивановна — я знаю, она женщина не всегда приятная, расчетливая, но она понимает меня, — и когда сказала, что ты у них, я бросила в Берлине все и помчалась сюда, к тебе... Сейчас приедет Аркадий, хочешь — я скажу ему и прямо отсюда уйду к тебе? Хочешь?

Федор не знал, что ему ответить.

— Все так неожиданно, Катя... Я должен возвращаться в комендатуру... В Берлине мы встретимся... поговорим... Не сердись на меня.

Екатерина Павловна разжала руки и отвернулась к стене:

— Я сделала все, даже то, что не должна была делать... Я сделала это, чтобы ты понял, как я люблю тебя... Я сделала... Зачем я это сделала?... — почти крикнула она и заплакала, кусая губы. Но тут же подумала, что ему неприятно встречаться с мужем и Марченко. С надеждой обернулась.

— Поезжай, милый... — и сквозь слезы, жалко, торопясь, — я скажу, что ты извинился, что должен сегодня быть в комендатуре... До свиданья, жизнь моя, — и она потянулась к нему лицом. Федор неловко поцеловал, и снова она показалась ему пьющей птицей.

Через час Федор, поеживаясь от утреннего холода, сидел в автомобиле. Карл молча держал руль, словно угадывая состояние хозяина.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Автомобиль быстро бежал по запорошенному снегом шоссе Дрезден-Лейпциг. Сокращая путь, Карл свернул на север, через Дален. Выглянуло тусклое зимнее солнце. Морозный туман порозовел, зарозовели и снежные поля. Въехали в лес — зимние, отяжелевшие деревья замелькали по сторонам.

Вдруг в моторе хлопнуло и затарахтело железо. Лопнул ремень динамо. Запасного не было. Досадуя на Карла, Федор приказал ехать на аккумуляторе до Далена.

Дежурный офицер даленской комендатуры — пожилой, сутуловатый капитан — позвонил коменданту на квартиру.

— Товарищ гвардии майор, комендант города просит вас к себе.

Федору ничего не оставалось, как идти к коменданту.

— Тихо у вас, хорошо, — заметил он провожавшему его капитану, проходя по заснеженной улице в белых кустах и деревьях.

— Тихо, товарищ гвардии майор, но скучно... Семью бы сюда выписать.

Капитан до войны был учителем сельской школы. Дома его ждала жена и двое детей. Тосковал, подавал заявления о демобилизации, обещали разрешить вы-

писать семью, но прошло четыре месяца, а разрешение не приходило.

— Молодым еще ничего: бегают по немкам, комендант живет с репатриированной, а нам, семейным, — тоска. Хоть бы читать было что, — может, у вас в Берлине можно что достать?

Комендант жил на пивоваренном заводе, наглухо огороженном высокой каменной стеной. На звонок вышла немецкая девка — широкобедрая, неряшливая, с жирной кожей.

Большая квартира была набита мебелью и вещами. В прихожей на шкафу лежало два аккордеона, почти в каждой комнате — по радиоприемнику. Бледный майор с припухшими глазами на обыкновенном лице вышел из спальни и представился:

— Районный комендант, майор Носов.

Китель был увешан медалями и орденами — Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

Познакомились. Оказалось — воевали в соседних дивизиях. Был четыре раза ранен.

Пришла «жена» — смазливая молодая женщина с усталыми темными глазами, в шелковом платье и русских сапогах на высоких каблуках. Глядя в сторону, подала бескостную руку и тут же ушла на кухню. Федор потом узнал, что она украинка, была вывезена немцами в Германию, при репатриации попала в сводный лагерь в Ошатце, где ПФК\*) проверяла репатриированных. Коменданты ближайших районов ездили в лагерь и набирали хороших для «обслуги» комендатур.

Стали собирать на стол. Федор отказывался, но

---

\*) ПФК — Проверочно-Фильтровочная Комиссия.

комендант был заметно рад новому человеку и не хотел отпускать. Чтобы развлечь Федора, завел радиолу. Пластинки были русские, десятка два эмигрантских — Лещенко и Вертинского.

— Только для своих, — заговорщицки сказал он Федору, имея ввиду мнение политотделов об этих певцах, как об упадочных и вредных.

«Ну, что ж, простимся, так и быть,  
 Минута на пути,  
 Я не могу тебя забыть,  
 Прости меня, прости».

Лицо Кати — пьющей птицы всплыло в памяти.

Вошла «жена» с тарелками на подносе. Она незаметно рассматривала Федора. «Освободили», — подумал он, — «сделали наложницей, потом выбросят «по приказу» на родину. Что ее там ждет, прошедшую военную Германию и постели «освободителей»?

Перевернул пластинку — тот же голос со слезами в горле:

«... Обо мне не грусти, мой друг,  
 я озябшая, хмурая птица,  
 Мой хозяин, жестокий шарманщик,  
 меня заставляет плясать...  
 Вынимая билетки счастья,  
 я гляжу в несчастливые лица,  
 И под вечные стоны шарманки  
 мне мучительно хочется спать...»

«И мне хочется спать, мучительно хочется спать».

Комендант в другой комнате звонил по телефону.

— Товарищ майор, я приказал съездить за ремнем в Ошатц, а пока давайте подкрепимся, — и он сделал широкий приглашающий жест:

— Так сказать, легкий завтрак!



Опять еда — горы мяса, закусок, приправ, опять водка, опять вино. Лишенные столько лет еды до-сыта, советские люди, попав в Германию, старались угощать, есть, поражать едой. Это дополнялось старинным русским гостеприимством. Так и у генерала, так и в Берлине, и у Марченко — повсюду.

Федору ни пить, ни есть не хотелось, но хозяин настаивал, обижался, так что «легкий завтрак» кончился пьянкой.

Время от времени появлялась «жена», убирала со стола и молча уходила. Когда Федор спросил ее, почему она не разделяет с ними компании, — покраснела, опустила руки и стала отказываться. Тогда комендант протянул ей стакан вина и приказал: «Пей». Она тихо сказала: «На здоровьечко» и выпила, так же стоя у стола. Потом собрала на поднос пустые тарелки и опять ушла в кухню.

Захмелевший хозяин, хвастаясь, рассказывал о своем «царствовании» в городке.

Волею войны закинутый в коменданты этого тихого городка, он быстро вошел во вкус положения «царька» и «развернулся». Федор не раз встречал таких комендантов. Что их ждало, вчерашних полуграмотных крестьян, а сегодня вершителей судеб тысяч побежденных немцев?

Жители, чье имущество, а порой и жизни зависели от воли коменданта, при одном появлении самодовольной фигуры представителя военной власти старались поскорее скрыться. Не дай Бог, если у какой-нибудь матери красавица дочь! Не дай Бог, если у кого в гараже остался автомобиль! «Непослушного» арестовывали и водворяли в подвал комендатуры, где он сидел, пока не соглашался с любым требованием коменданта. Жаловаться никому не приходило в голову.

Группы местных коммунистов, зависимых от комендантов, даже при явном беззаконии не решались «портить отношений» с властью. Федор угадывал будущее этих «царьков». Он знал, что в Москве готовились кадры для работы в Германии, что комендатуры по мелким городкам будут упразднены, комендантов ждала демобилизация и возвращение к себе в деревни или в провинциальные городки, где они, отвыкшие от труда, с новыми привычками к пьянству и безграничной власти, неминуемо должны были кончить тюрьмой и лагерем.

— Тебе что нужно — ты скажи, майор! Я все могу. Хочешь корову — пожалуйста! Хочешь бочку спирту — пожалуйста! Сахар, повидло — пожалуйста! Все равно немецкое — они у нас брали, теперь мы берем!

Разошедшегося коменданта прервало появление дежурного:

— Товарищ майор, надо бы сводки подписать.

Федору стало стыдно перед этим пожилым капитаном. Он извиняюще развел руками, показывая, что ничего не мог сделать.

— Извини, майор, надо сходить в комендатуру, сам знаешь — служба прежде всего! — Пошатываясь, стараясь держаться прямо, комендант удалился в сопровождении дежурного.

— Он часто у вас так? — спросил, чтобы что-нибудь сказать, у поправлявшей скатерть «жены» Федор.

— Каждного Божого дня, — со вздохом, покорно ответила та. Это Федор и без нее знал.

— А нельзя ли мне где-нибудь поспать у вас?

«Жена» как-то боком взглянула на Федора, и ему показалось, что она хотела проверить, не приглашение

ли это мужчины ей, женщине. «Неужели она еще и спит с приезжими?»

— Я устал немного и хотел бы отдохнуть, — как мог мягче сказал он.

— Прошу, товарищ майор, до цыей кимнаты, — она провела Федора в комнату рядом, повидимому, «кабинет» хозяина. Везде валялось оружие, фотоаппараты, части киноаппарата, какие-то картонки с белым, куски материи, недошитые посылки. Здесь же стоял широкий диван. «Жена» принесла стеганое одеяло и подушку.

— Прошу, — но не уходила, и Федор опять подумал о коменданте: «Как он надоел ей».

— Вы хотите что-то мне сказать?

— Товарищ майор, вы из Берлина, чи вы не чули, що с нами буде? — быстро спросила она, прижимая руки к груди.

— Домой, наверное, отправят.

На глазах у женщины показались слезы.

— Хочь бы до дому, Боже ж мий! Уси кажут, що пашпарты дадуть — але ничего не дають. Наши кажут, що до Сибиру засылають... страх-то... от и сидю тут... Чи не можно там похлопотатысь? Може допоможете, товарищ майор, вик Богу за вас молитись буду, — и она молча заплакала.

Федору до боли стало жалко это замученное человеческое существо. Чем он мог помочь ей? Но, чтобы как-нибудь успокоить, достал блокнот и спросил фамилию, обещая где-то похлопотать.

— Ничипуренко Галина, 1925 року народження, — вытерла рукой слезы и, всхлипнув: — Вы вже попросить, товарищ майор, щоб до дому поихать.

Оставшись один, Федор долго лежал и думал о «поихать до дому», о сотнях тысяч таких же девушек,



искалеченных событиями, потерявших близких, дом и даже доверие правительства своей страны только за то, что их вывезли на каторгу в Германию.

Он слышал сквозь сон, как вернулся комендант, как кричал на Галину, как та что-то тихо отвечала. Когда комендант разбудил Федора, стол в столовой был снова заставлен блюдами и бутылками.

Иить Федор отказался наотрез. Карл сидел на кухне, сытый, подвыпивший, и что-то рассказывал смешное толстой кухарке. Автомобиль был готов.

Комендант снова настойчиво просил выпить и снова обижался, так что Федору пришлось уступить и, преодолев отвращение, проглотить три рюмки. Комендант пил, не закусывая и, опьянев, снова стал предлагать взять у него что-нибудь в подарок.

— Хочешь, бери вон ту картину. Ты человек образованный, и тебе она нужнее. — Большая картина изображала обнаженную женщину на фоне огромного павлина. Кожа была написана так хорошо, что казалась теплой и живой.

— Бери, майор, — это из Дрезденской галлерей. Когда союзники бомбили, всю галлерею развезли по деревням. Эта попала в Дален.

— Спасибо, товарищ майор, картина очень хороша, но с ней под суд попадешь: Знаете приказ маршала Жукова, — Федор чуть не сказал «покойного маршала», — у нас в Берлине одного офицера за гешефты с картинами на десять лет засадили, а тут из Дрезденской галлерей.

— Ну, ладно, тогда возьми что-нибудь — у меня вон сколько! — настаивал вошедший в раж гостеприимства пьяный майор.

— Чего у вас в Берлине нет, ты скажи? Ну, продуктов хочешь?



— У нас «Гастроном» есть, спасибо, — отказывался Федор.

— Ну, а мясо у вас есть?

— Столько нет, но хватает.

— Вот видишь, возьми мяса. А?

Решив отделаться и думая, что все обойдется кругом-двумя колбасы, Федор согласился.

Было десять часов, когда он стал прощаться. На освещенном фонарями заводском дворе стоял готовый автомобиль, и Карл прогревал мотор. Федор еще раз поблагодарил вышедших на крыльцо коменданта и Галину. Ночной полицейский открыл ворота, и автомобиль, освобожденный от тормоза, покатился с возвышенности.

Городок уже спал. Только комендатура была ярко освещена и с ее стен смотрели плакаты и огромный портрет Сталина. У полосатой будки ходил часовой с автоматом.

Когда въехали в лес, Федор почувствовал запах навоза. На заднем сиденьи что-то чернело и тяжело дышало.

— Что это такое, Карл?

— Овца, господин майор.

— Что-о-о?

— Овца. Комендант сказал, что вы знаете.

— Вот идиот! — но тут же рассмеялся: — Что же мы будем делать с нею, Карл?

— Придется зарезать, господин майор. Она ягненая.

— Этого еще не хватало!

Если бы в пути комендантский контроль обнаружил овцу, да еще ягненую, без соответствующих документов — это грозило отдачей под суд по тому же приказу Жукова. «Попадешь на дурака — ну, и пропал. Надо выбросить».

— Останови, Карл. — Шофер затормозил.

Федор вышел. По обеим сторонам дороги, уходя кронами во тьму ночи, стояли сосны. Федора слегка лихорадило. «Куда же ее, проклятую? Жалко, — ведь, замерзнет». И Федор снова сел в машину, решив оставить овцу в ближайшей деревне, о чем и сказал шоферу. Карл, недоумевая, покосился на хозяина.

— Зачем выбрасывать, господин майор, ведь в ней центнер мяса.

— За этот центнер меня могут расстрелять.

— За подарок коменданта? Вы можете указать, откуда он у вас.

— Тогда попадет коменданту, Карл.

— А кроме того, господин майор, уже ночь и до Берлина по этой дороге никаких постов. В Берлине вас все знают.

«Пожалуй, Карл прав», — подумал Федор и решил положиться на судьбу.

В лесу снегу было больше, автомобиль ехал со скоростью в сорок-пятьдесят километров.

Одна канистра с бензином протекала, и в автомобиле стоял удушливый бензиновый запах. То ли от этого, то ли от своего состояния, овца явно задыхалась. Пришлось опустить заднее окно. Свежий морозный воздух овцу успокоил.

Федор поднял воротник пальто и стал дремать. Проснулся он, когда проезжали Торгау — большие темные казармы, красная освещенная комендатура, зимние ночные улицы, площадь с неизменной ратушей и фонтаном, снова улицы и снова темнота зимней ночи. Несколько раз впереди, в свете фар, пробежали зайцы, один раз метнулся рыжий язык лисицы, а когда въехали в лес, метрах в пятидесяти, справа от дороги, увидели козулю; животное, повернув голову, смотрело

на огни приближающегося автомобиля; потом медленно, будто нехотя, вскинув задом, козуля сошла в придорожную канаву и скрылась в кустах.

Федор мысленно увидел свой маленький автомобиль, одиноко бегущий среди огромного ночного леса. Будь это в России — давно обстреляли бы или остановили бревном через дорогу. «Странный народ — немцы. Ни одного случая возмущения, хотя в оскорблениях от таких вот комендантов недостатка нет. Ни одного террористического акта, ни одной диверсии, а ведь они Германию любят не меньше, чем мы Россию... И солдаты хорошие... Всегда казалось, что нацистская молодежь воспитана в духе очень боевом и патриотическом... Ведь какими молодцами ходили в психические атаки. Неужели все — пресловутое немецкое уважение к порядку: раз приказ о капитуляции подписан, значит надо терпеть и, пока не будет правительства и новых приказов, так и будут терпеть».

Потом вспомнил о недавнем убийстве двух демонтажников и шофера где-то недалеко от Лейпцига. Так же ночью в лесу их автомобиль остановил патруль — офицер с красной повязкой и солдат с флажком. Ехавшие не придали значения, что «КП» выбрал себе место в лесу. При проверке документов офицер в упор застрелил из пистолета сидящих в автомобиле. Трупы выбросили в снег, забрали деньги, личные документы и скрылись на автомобиле. Убитых обнаружили, а месяц спустя в Дрездене был задержан «подполковник», документы которого имели фамилию убитого демонтажника. При задержании «подполковник» пытался бежать, застрелил одного солдата, но другой солдат патруля убил его из автомата.

Федор знал, что по всей советской зоне оперировали банды дезертировавших из частей солдат и офи-



церов. «Война нравственность не улучшает... Не хотят ехать на родину, не хотят возвращаться в бедность, нищету, беспросветный труд для каких-то чужих — все-таки чужих, что бы ни говорили, — интересов».

Вспомнил слова отца Василия «люди хотят жить»... «Можно ли огулом осуждать этих озверевших от войны людей — они хотят жить и вот остаются здесь. Затравленные облавами, не смеющие перейти границу на Запад, — там их выдают союзники, — они, чтобы существовать, превращаются в грабителей».

От этих мыслей ночь стала черней, дорога глуше. Федор вынул пистолет, снял предохранитель, положил на колени. Заметив это, Карл сосредоточился и стал вглядываться вперед. Овца сзади временами тяжело вздыхала.

Далеко в ночи сквозь стволы деревьев замелькали огоньки.

— Ютеборг, — облегченно сказал Карл.

В Ютеборге стояла танковая дивизия. В темных окнах спящих домов вспыхивало отражение света автомобильных фар и казалось, что кто-то в домах включал свет.

Выехали на длинную улицу. Впереди виднелся освещенный фонарем перекресток. Когда подъехали к нему, из-за углового дома выскочил солдат и замахал красным флажком. За ним вышли еще две фигуры в шинелях. Федор кивнул Карлу остановиться и взял пистолет. Автомобиль, по инерции скользя по укатанной мостовой, проехал мимо отскочившего солдата и остановился. Подбежал другой солдат с погонами сержанта и красной повязкой на рукаве. Федор опустил возле себя стекло. Разглядев погоны Федора, сержант приложил ладонь к шапке:

— Контрольный пункт. Прошу документы, товарищ майор.



Федор протянул в окно паспорт на машину, свое удостоверение и пропуск.

Сержант зашел вперед, сверил номер автомобиля с документами и, вернувшись к окну, протянул их Федору. В этот момент овца как-то особенно тяжело вздохнула. Сержант обернулся на вздох и стал пристально вглядываться в темноту заднего сиденья. Он видел что-то черное, вроде шубы, но живое.

У Федора упало сердце: «вот оно...» Сержант наклонился к открытому окну разглядеть и, — то ли от света перекрестка овце показалось, что пришли кормить, то ли что другое, — она вдруг высунула морду прямо к лицу сержанта и густо заблеяла: «бэ-э-э-э!»

От вида перед носом страшной косматой морды с нечеловеческим «бэ-э!» сержант испуганно отпрянул от автомобиля. Подумав, что офицеры шутят над ним, только и успел сказать:

— Ну, что вы пугаете!

Не дав ему опомниться, Федор толкнул Карла, тот включил газ, автомобиль дернул и поехал, набирая скорость.

Опасаясь стрельбы вслед, Федор оглянулся: два солдата подошли к сержанту, и тот что-то рассказывал, показывая руками у головы.

Карл рассмеялся, засмеялся и Федор.

В этом настроении удачи доехали до Берлина. Какими-то неизвестными Федору улицами, через американский сектор, выехали к дому.

Квартира встретила теплом. Полы были до блеску натерты, ноты и книги аккуратно сложены, стол накрыт чистой скатертью. Все неузнаваемо преобразилось, и Федору, несмотря на поздний час — было три часа ночи, — показалось, что в квартире давно живет хорошая семья и он член этой семьи.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Разбудил его чей-то вскрик. В раме дверей, освещенная сзади утренним солнцем, стояла Инга. Лучи в волосах нимбом окружали испуганное и смущенное лицо.

— Пожалуйста, извините! — она поспешно закрыла дверь. Опомнясь, Федор крикнул:

— Не уходите, я сейчас оденусь! — он торопливо стал одеваться, все время оглядываясь на дверь, где только что была девушка с солнцем в волосах.

Когда Федор, стараясь быть незамеченным, проходил в ванную, девушка убирала в кабинете. В ванной все стояло на месте: одеколон, щетки, мыльницы, стаканы. «Замечательная девушка!» — подумал он. Торопясь, порезался бритвой и долго останавливал квасцами кровь.

— Гутен морген! — как можно бодрее сказал он, входя в кабинет, но почувствовал неловкость от того, что не знал, как ее зовут.

— Гутен морген, герр майор! — девушка мельком глянула на него и продолжала вытирать чернильницу.

— Я напугал вас? Я приехал ночью.

Девушка чуть покраснела и засмеялась. Две ямочки на щеках сделали лицо еще моложе и приятнее.

— Я была совершенно уверена, что в квартире никого нет. Вы, наверное, не выспались, а я разбудила вас. Вы приехали позже двух, — и покраснела: он

мог догадаться, что она не спала и ждала его до двух часов.

Он понял это и смутился сам. Чтобы скрыть смущение, взял с письменного стола фотографию Сони.

— Вам нравится моя сестра?

Девушка как-то странно посмотрела на фотографию, потом на него.

— О, это ваша сестра? Теперь я вижу, что она даже похожа на вас, — и, взяв из рук Федора карточку, стала излишне пристально разглядывать ее.

— А вы думали, что это не сестра? — тоже обрадовался Федор.

Девушка наклонилась над карточкой и ничего не ответила. Она почувствовала вдруг, что ей нравится это лицо с гладкой прической и грустными глазами; до этого прическа казалась ей старомодной, а глаза глупыми.

И, ставя фотографию на стол, чтобы прервать молчание, сказала, что звонила фрау-оберст Рыльская и подполковник Глинов.

При имени Рыльской Федор сразу все вспомнил и помрачнел. Пробормотав что-то в благодарность, вышел из кабинета. Он совсем забыл, совсем не думал о Кате, и в этом было что-то очень неприятное.

Он принялся ходить по столовой и вспоминать все, что произошло у Марченко.

Он давно догадывался, но то, что сказала ему Катя, было совсем иное. Это иное говорило ему, что она глубоко несчастна с мужем, что ей было не легко решиться на поездку к Марченко и что это было отчаянным решением любившей женщины.

Чувство тревоги и чего-то непоправимого — он знал, что всю жизнь теперь будет вспоминать это

с острым стыдом, — навалилось на него, так что он даже остановился, зажмурил глаза и замотал головой.

И раньше были встречи. Он ловил себя на том, что ему нравились женщины с внешностью Кати — чувственные, с развитыми формами. Но он всегда стыдился сознаваться и боролся с этим. Встречи были короткими, а на войне и просто торопливыми. Они затрагивали его как-то внешне, механически. Он никогда не переставал ждать встречу-чудо, которая должна была чем-то поразить его и стать смыслом жизни. Еще подростком и юношей, за книгами и в воображении он мечтал о такой любви и, глядя через призму своего желания, влюблялся в случайных женщин. Обычно, если не упрямился, это скоро проходило.

Катю он воображением не приукрашивал — он просто не думал о ней. Если его влекло к ней, то как раз то самое, с чем он боролся в себе. Ее отношение к нему он объяснял обычаями военной среды и привычками жен всегда занятых ответственных работников.

Сейчас он думал, что, опьянев у Марченко, поддался «животному» и «порочному». Его смущало и беспокоило то, что она говорила ему ночью и утром.

Он не любил ее и не мог, как ему казалось, полюбить. Поэтому он не должен был делать того, что произошло.

Попытался защититься тем, что она сама приехала, но это было уже не по-мужски, нечестно. Он снова остановился и замотал головой.

Из кабинета вышла Инга с тазом и тряпкой в руке.

Присутствие этой девушки сейчас показалось Фетору досадным и неприятным. Он остановил ее и слегка раздраженно сказал:

— Я сегодня же поговорю с бургомистром района,



чтобы он нашел вам работу в какой-нибудь фирме, как я обещал вашей матери.

Она испуганно посмотрела на него и зачем-то взялась другой рукой за таз.

— Мне хотелось только знать, что вы умеете делать — знаете ли стенографию, машинопись? Учились ли?

Инга отвернулась к окну.

— Разве вы недовольны моей работой, герр майор? — помолчав, быстро спросила она, глядя в окно. — Я окончила гимназию и музыкальное училище, знаю стенографию, машинопись плохо... Но разве вы недовольны? — повторила она, морща лоб.

— Нет, я очень доволен, но я обещал вашей матери устроить вас в фирму. Мне кажется, что эта работа для вас, образованной девушки, не подходит.

— Мне удобна эта работа... Мама больна, и я всегда рядом с нею... Но, если вам это не подходит...

— Вы меня не поняли. — Федор чувствовал, что обидел ее, — мне неловко предлагать вам черную работу уборщицы... Но если вы находите возможным, — я очень рад... Тогда нам надо познакомиться, — и он протянул руку:

— Майор Федор Панин.

— Инга фон Торнеч. — Маленькая рука ответила ему крепким рукопожатием.

— Я очень рад. И, если вам когда-нибудь будет нужна моя помощь, — говорите мне не стесняясь.

— Данке зер, герр майор. Вы уже и так много сделали для нас, и мы с мамой не знаем, как вас благодарить, — серьезно ответила девушка, глядя прямо ему в глаза.

— Я сейчас иду в комендатуру. Скажите, пожа-

луйста, шоферу, чтобы взял эту картонку и ехал туда же. )

— Хорошо, герр майор, но... — она улыбнулась: — разве герр майор по утрам не завтракает?

— Я позавтракаю в комендатуре. За эти три дня там накопилось много работы и мне надо торопиться.

Было видно, что она сказала о завтраке из чувства простого недоумения — как это идти на службу не позавтракав? И это его тронуло.

— Ауфвидерзеен, — и снова не сказал «фрейлейн» — это звучало бы, как в гастштетте; «фрейлейн фон Торнер» было бы слишком официально.

— Ауфвидерзеен, герр майор, — и опять засмеялись ямочки на щеках.

«Хорошая девушка», — несколько раз подумал Федор, спускаясь по лестнице. На дворе светило солнце, ослепительно сверкал выпавший под утро снег. Федор быстро пошел по направлению к комендатуре. Несмотря на мороз, ему вскоре стало жарко, в глазах посветлело и он снова почувствовал себя бодрым и с особым удовольствием отвечал на приветствия встречных солдат.

Из ворот комендатуры выезжала телега комендантской столовой. Задняя ось зацепилась за ворота и лошади стали. Заметив Федора, солдат-возница принялся хлестать кнутом по широким крупам лошадей. Кони прижимали уши, рвались, но ось не пускала.

Из ворот выскочил Валька — сержант Волков.

— Ты что, очумел? Рад, что кнут в руки попался! Чего зря коней порешь?

— Что-ж их жалеть — все одно немецкие! — крикнул, смеясь, возница.

— Вот балда! Виноваты они что ли, что немец-

кие? — сержант взял лошадей под уздцы, подал назад и ловко вывел.

«Молодец Валька!» — подумал Федор и приветливо кивнул заметившему его сержанту:

Полковник был один.

— А, Федя, заходи. Здравствуй, — он как-то чересчур внимательно, как показалось Федору, поздоровался.

— Ну, докладывай, докладывай. Садись, Федя, — продолжал суетиться Баранов.

Федор рассказал о «Мерседесе» и покупках.

— Значит, в порядке. Молодцом. Сейчас позовем замполита, он артачился, но раз пальто жинке есть — замолчит. У него в семье, между нами, штаны носит жинка.

Баранов замполита не любил, как все коменданты, к которым замполиты были приставлены для контроля.

На звонок явился секретарь.

— Позовите подполковника Моргалина. Теперь вот что, Федя: тебе пришла телеграмма. Она у Моргалина. — Федор сжался и вцепился в ручки кресла.

— Сестра заболела. Телеграмма заверена врачом.

«Вот оно...» — Федор беспомощно посмотрел на серебряные от инея ветки за окном.

Вошел без стука замполит. Маленький, толстый, молча сунул сосиски пальцев коменданту, потом Федору и, придвинув стул, сел сбоку комендантского стола.

— Все в порядке. Пальто майор привез.

Моргалин забарабанил пальцами-сосисками по столу и ничего не сказал.

— Где оно у вас, товарищ майор?

Федор не понял.

— Пальто где, товарищ майор?

— Ах, пальто... в картонке... дома...

— Правильно. Завези его на квартиру товарищу подполковнику.

— Очень кстати. Спасибо товарищ майор. Новогодний подарок жене. Очень кстати, — заговорил, наконец, Моргалин.

Федор молчал.

— Здесь вам телеграмма. Где она, товарищ полковник?

Баранов сделал вид, что забыл:

— Разве я не отдал тебе? — и полез в ящик стола.

«Не хотел без замполита отдавать. Бойтся решить сам», — подумал, начиная злиться, Федор.

Полковник протянул через стол телеграмму. Она была распечатана, хотя адресована на имя Федора.

«Соня очень больна тчк требуется ваш немедленный приезд тчк соседка Козина тчк факт болезни заверяю городской врач Шишкина».

— Мы с комендантом решили дать вам отпуск. Работы много, но забота о человеке — правило коммунистов. Поезжайте и, если что нужно, пишите — мы поможем.

Федор встал и молча пошел к двери. «Соня... Боже мой... Соня...»

На улице его окликнул Карл.

— Герр майор, а что делать с картонкой?

— Что? С картонкой? — Федор потер лоб. — Отвези на квартиру коменданту. Потом приезжай домой... — и пошел, не замечая козырявших солдат.

Инга была еще в квартире. Федор, как был — в шинели и фуражке, прошел мимо нее в кабинет и сел за стол. С фотографии грустно смотрела Соня. «Что же делать? Что же делать?»

— Герр майор плохо себя чувствует?



Девушка стояла в дверях и внимательно вглядывалась в лицо Федора.

— Вам нездоровится?

Федор взял карточку Сони и протянул Инге.

— Сестру... — хотел сказать: арестовали, но поправился — Сестра опасно заболела. Очень опасно, — голос был чужой, и Федор будто слышал его со стороны.

— Майн Готт! — Она подошла к нему и протянула руку. «Будто поздравляет» — подумал он об обычае немцев пожимать руку человеку в несчастьи. Прикосновение холодной руки девушки было искренне, как и вся она. «Не то, что эти!» — злобно подумал о Моргалине, Баранове и даже о Кате.

— Завтра я улетаю в Россию. Когда вернусь — не знаю. Прошу вас присматривать за квартирой. Я очень рад, что познакомился с вами. Если меня не будет больше двух недель, возьмите мои личные вещи к себе. Карл вам поможет. Во всем советуйтесь с ним, он хороший парень.

Открыл стол, вынул из ящика деньги и, отсчитав пятьсот марок, протянул их Инге.

— Это ваше жалованье вперед.

Инга покраснела:

— Это очень много.

— Это ваше жалованье вперед, я могу долго задержаться.

Кто-то позвонил. Девушка пошла открыть.

— Все в порядке, герр майор, — доложил, входя, Карл.

— Ладно, Карл, теперь не до этого. Завтра я улетаю в Россию. — Шофер удивленно остановился. — Моя сестра опасно заболела.

Федор подумал, что для хлопот понадобятся день-

ги и что сегодня же надо продать автомобиль, но вспомнил о меховых пальто — одно Соне, а другое можно будет продать.

— Машину, Карл, береги. Поставь куда-нибудь в мастерскую, в западном секторе. Если кто из наших будет спрашивать, скажи, что я отдал ее в ремонт и ты не знаешь куда. Понятно?

— Яволь, герр майор!

— Дальше: если я вдруг не вернусь вообще, бери машину себе, продай, купи другую и начинай свое дело.

— О, герр майор!

— Дальше: вот тебе жалованье за месяц вперед. Если я не вернусь... через две недели, все мои вещи перенеси к фрейлейн фон Торнер, — мебель не моя. Если я не вернусь через месяц, раздели вещи с ней и делайте, что хотите. Понятно? Я постараюсь дать знать письмом через сержанта Волкова.

— Яволь, герр майор! А что делать с овцой?

— Какой овцой? — но тут же вспомнил и усмехнулся.

— Зарежь. Мясо подели с фрейлейн фон Торнер. Теперь оставь меня, я напишу письма: одно отдашь подполковнику из Нордхаузена, он послезавтра придет в комендатуру, другое отвезешь и отдашь лично, — понимаешь? — лично фрау-оберст Рыльской.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Самолет вылетел из Адлерсхофа рано утром. Погода стояла пасмурная, до самого Минска летели в облаках. Над Белоруссией увидели землю. Рядом с Федором сидел старый генерал артиллерии. Им пришлось смотреть в одно и то же оконце: далеко внизу плыла русская земля — ни одной деревушки, ни одного села — только печные трубы и землянки возле них; города были похожи на какие-то развороченные игрушки. И так до самой Москвы. Генерал глядел молча, тяжело вздыхал, отворачивался, но через минуту смотрел снова и снова вздыхал.

В Москве были в половине пятого.

Долго держали в таможне. Каждый пассажир открывал свои чемоданы и таможенник выкладывал содержимое. У первого пассажира, больного полковника, отобрали бинокль и третий костюм, у второго — инженера из СВАГ\*) — второе пальто и третью пару туфель, Федор стоял в очереди за генералом. Куча отобраанных вещей на прилавке росла. Пассажиры пытались робко протестовать, но у очередного пассажира, подполковника медицинской службы, нашли в бумажнике пятьсот рублей без оправдательного документа, пришел лейтенант МГБ и забрал у него документы. Всякие протесты прекратились.

---

\*) СВАГ — Советская Военная Администрация в Германии.

Генерал обернулся к Федору:

— Не получит племянник подарка, — и показал на висевший у него на плече фотоаппарат.

Генерал вез два фотоаппарата: один внуку, а другой племяннику.

— А вы, товарищ генерал-полковник, дайте его мне — у меня фотоаппарата нет, пропустят, — шопотом сказал Федор.

Старик обрадовался, озорно, по-молодому оглянулся и незаметно передал аппарат Федору. Федор подумал попросить генерала о пальто: одно не влезло в чемодан, и он вез его в отдельном пакете, но генерал сам догадался:

— Может быть, майор, и я могу чем помочь вам? — также шопотом, не глядя на Федора, спросил он его.

Федор нагнулся, будто поправить чемодан, отвядал пакет и толкнул его ногой к генеральским чемоданам. Генерал молча кивнул головой.

В это время таможенник заметил генерала:

— Товарищ генерал, генералам без очереди, — пожалуйста!

Все оглянулись. Старик хотел отказаться, но таможенник сам подошел и взял его вещи, а с ними и пакет Федора.

Из вещей Федора таможеннику не понравилась книга. Это была замечательно изданная книга репродукций Рубенса, которую он захватил в подарок Соне.

— А это что за литература?

Федор назвал.

— Немецкая?

— Да, немецкая.

— Нельзя, — таможенник бросил книгу в кучу отпущенных вещей, но Федор решил не сдаваться:



— Да ведь этот художник умер триста лет тому назад! Классик!

Таможенник грозно посмотрел на него, взял книгу снова и стал перелистывать:

— Откуда я знаю, что он умер? Голые бабы — буржуазный разврат! Нельзя! — и снова кинул в кучу. Рубенс перевернулся и упал за прилавок.

Кругом рассмеялись. Федор решил не связываться, запер чемодан и пошел в общий зал, где его ждал старик-генерал.

— Здорово мы их, майор! — генерал неожиданно громко расхохотался.

Столица поразила Федора усталыми лицами прохожих, бедностью одежды, толкотней и заметно увеличившимся числом автомобилей на улицах, больше немецких марок.

Хотел проехаться по городу — изменился ли он? Сколько лет прошло и каких лет! Но вспомнив Соню, и дело, по которому приехал, он отправился прямо на Курский вокзал.

На вокзале не протолкнуться — залы, проходы были забиты пассажирами, детьми, узлами, сундуками, чемоданами. У касс стояли толпы — очередь занимали за три дня до отъезда, билетов ежедневно хватало одной трети ожидавших. Достать билет через носильщика стоило в три-четыре раза дороже.

Федор пробрался сквозь толпу в зал для военных. Усталый, с красными глазами дежурный вокзальной комендатуры предложил ему билет на завтра. Федор молча положил перед ним орденскую книжку, отпускное предписание и телеграмму о Соне. Дежурный хотел по привычке отказать, но, взглянув на Федора, махнул рукой и молча достал откуда-то из стола та-

лон: такой все равно не отстанет — начнет скандалить, пойдет к коменданту и разрешение получит.

Поезд отходил через час. В воинской кассе очереди не было. Купив билет, Федор вдруг почувствовал, что голоден — он не ел с утра.

В вокзальном ресторане — посетители все больше офицеры — было тепло и шумно. Федор обратил внимание на цены: мясное блюдо стоило 8-10 рублей, т. е. столько, сколько зарабатывал в день квалифицированный рабочий. За обед Федору пришлось уплатить тридцать рублей.

Поезда еще не было. У входа на платформу стояла тысячная толпа, оттесняемая милиционерами. Все это должно было ринуться, как только подадут поезд. Федор в нерешительности остановился. Какой-то железнодорожник, пробегая мимо, посмотрел на него и раздраженно, как показалось Федору, заметил:

— Вам-то, товарищ майор, зачем лезть? Когда уляжется, тогда и проходите — офицерские места нумерованы!

Из двери слева торопливо вышло десятка полтора милиционеров и железнодорожников. Они заняли проходы к двум соседним платформам. Подошел запыхавшийся паровоз. Приехавшие пассажиры выскакивали из вагонов, стараясь пробраться ближе к выходам, где милиционеры и контролеры стали тщательно проверять паспорта, пропуска, командировочные. Тут же многих задерживали и куда-то уводили. Москва!

Вскоре подали поезд. Вагоны брали с боя. Кого-то придавили, кто-то кричал, плакали дети, визжали женщины...

В офицерском отделении вагона было даже пусто. Электричества не было — горели свечи. Федору досталось место в двухместном купе. Он стянул сапоги

и полез на верхнюю полку. Ни белья, ни матраца, конечно, не было. Под голову положил чемодан, укрылся шинелью и стал думать, что будет делать дома. За окном бегали люди, просились в вагон, кондуктор одностонно говорил: «воинский». Измученный женский голос крикнул: «Чтоб им пусто было, этим лейтенантам!»

Потом все смешалось: шум моторов самолета, печальное лицо старого генерала, вокзальные толпы, милиционеры, проверяющие документы, лицо Сони, крики за окном... Отхода поезда Федор уже не слышал.

Проснулся он от боли в спине. Мерно стучали колеса. Светало. Внизу храпел, укрывшись с головой шинелью с интендантскими подполковничьими погонами, какой-то толстяк.

За окном в сером утреннем свете плыли снежные, уходящие до горизонта поля. Пронесся сожженный полустанок, и снова низкое темное небо и мертвые белые поля.

Глядя на них, Федор почувствовал, что он дома. Чем-то бесконечно родным повеяло на него от этой безрадостной картины зимних полей.

Он закурил и подвинулся к окну. Метрах в ста от полотна шла проселочная дорога. Мимо проплыла, отчетливая на снегу, группа — лошадь, сани и фигура в полушубке и шапке. И уже когда они остались позади, Федор все еще видел клячонку с понурой головой и человека, глядящего на поезд, на фоне бескрайнего снежного поля. Эта картина каким-то образом предельно дополнила ощущение того, что он — дома, чувство глубокой связи с миром России, родины.

Мелькали сожженные полустанки и станции, бабы, укутанные в огромные платки, с кувшинами в кошел-



ках, вороны на дорогах, поля и снег без конца, без края.

Подполковник ехал в Крым лечиться от «одышки», как он говорил. Был он веселый, плутоватый, сыпал анекдотами и все приговаривал: «а мы его остороженько за ушко да на солнышко». О своих болезнях — «одышке» и какой-то «контузии» говорил так, будто они доставляли ему удовольствие. Вещей с ним было много, Федор даже удивился, зачем ему это в санатории.

— Э, батенька, да ведь в Крыму ничего нет — ни мануфактуры, ни трикотажа, ни обуви! Я и подлечусь, и времени даром не потеряю, — и хитро подмигнул Федору.

К обеду он стал надоедать, и Федор обрадовался, когда услышал, как тот договаривался в коридоре с кем-то из пассажиров «сгонять вечерком пулечку».

Федор пытался собраться с мыслями о предстоящем. Все было неясно — даже представить Соню арестованной он не мог.

Взял со столика книгу — подполковник ее вынул из чемодана еще утром. «Краткий курс истории ВКП(б)» — это было неожиданно и непохоже на толстяка. Федор рассмеялся.

Тот заметил снизу:

— Правильно, майор! Надо на зубок знать — без нее ходу нет, — и смеясь, добавил: — везде вожу с собой, но дальше двадцатой страницы никак не осваивается.

Вскоре подполковник ушел в соседнее купэ играть в преферанс. Федор достал Блока, но читать не хотелось, и он бездумно смотрел в окно — мягко проносились, отсчитывая расстояние, телеграфные столбы, бежали, то поднимаясь, то опускаясь и перекрещи-



ваясь, провода, косматый шар солнца, разрывая чащу леса, неся за деревьями и, казалось, хотел обогнать поезд и забежать вперед.

Кто-то без стука открыл дверь.

— Подайте безногому, товарищ офицер!

Федор оглянулся — с высоты пояса на него пристально смотрели светлые с усмешечкой глаза. На безногом была выцветшая гимнастерка с орденами «Славы» 1-й степени, «Красной Звезды» и медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». В руках — деревяшки для опоры.

Федор смотрел на калеку, тот на Федора, у обоих в глазах росло узнавание.

— Седых... Ты?! — первым опомнился Федор. Усмешечка пропала, глаза сузились и стали колючими.

— Так точно, товарищ гвардии майор Панин, бывший гвардии сержант Седых, собственной персоной. Наше вам с кисточкой!

Федор молча кинулся к двери и протянул руку. Калека посмотрел на руку, потом на лицо, снова на руку и, осторожно поставив на пол деревяшку, пожал грязными и сильными пальцами руку Федора:

— Привет, товарищ майор, если не шутите.

— Боже мой, Седых! Митя! Да входи же! — Какой-то офицер остановился в проходе у двери. Федор почти втолкнул безногого в купэ и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть — и стал угощать папиросами.

— Как же, Митя? А? Сколько лет, и вот привелось...

Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел уже с усмешкой на Федора.

Федор знал эту усмешечку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на него, когда он

под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал своему сержанту Митьке Седых, самому отчаянному головорезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к нападению на переправу. Приказ послал, сержанта на смерть. С этой же усмешечкой Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Через двадцать минут пулемет замолчал. И когда с мостом было кончено, и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор никогда не слышал.

— Вот она «Слава» где! — Седых ткнул грязным пальцем в белую звезду, потом на обрубки ног. От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора:

— А я думал, вам «Героя» тогда дали.

— Какое там «Героя», Митя... Ты, наверное, мне никогда не простишь этого.

Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет, с лицом, налившимся кровью, прохрипел:

— Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра я!» — еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего — попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой — деньжата завелись. В госпитале боялся — бабы любить не будут, а вышло наоборот, ноги тут не причем. Плохо — война кончилась: ребятки с фронта к женам прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже другое — «товарищи» спуску стали не давать. Раньше едешь с чувалом барахла, чтоб загнать, где подороже, — ни-

какая зараза не прискипается! Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его — костылями! До полусмерти долбали! А на базаре — за версту обходили лягавые нас! Теперь — крышка: засыпался с барахлишком, ну и хана — три-пять лет! Хоть бы ты «Ленина» имел. Ордена теперь не защита.

Федор достал из чемодана бутылку коньяку и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.

— Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь!» — Ему заметно нравилось говорить с Федором независимо, как с равным. Федору же хотелось сделать для Седых что-нибудь такое, чтобы тот понял, что ему стыдно за его ноги и за свое искалеченное тело.

Русский человек неловкость часто прячет в вине. Скоро последовала вторая бутылка, а потом, на станции Федор купил еще самогона.

— Куда же ты едешь, Митя?

— Домой.

— А дом где?

— Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые — жить было бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше били милицию мы — теперь милиция нас бьет. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом — под монастырь, в лагерь. Хоть я «Сибири не боюсь, Сибирь, ведь, тоже русская земля», но обидно, товарищ майор, — они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне «максим» — всех мильтонов перестрелял бы!

— Как же тогда без них? — усмехнулся Федор.



— В натуре, советской власти без мильтонов нельзя, на мильтонах и держится. Но наше время вернется, опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов, а тех, кто повыше! Во второй не обдурят! Теперь — ученые.

— А разве инвалидам не дают пособий, не устраивают на легкую работу?

— Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот недавно в Одессе собралась бражка на костылях, да так на костылях лягавым, что внутренние войска вызывали.

— Как же это?

— Да так, великая революция инвалидов в городе Одессе! — рассмеялся совсем не пьяный Седых, — схватили корешков, ну, и тю-тю, в лагеря. Рано еще. Но время наше придет. Сейчас надо по маленькой. Вот собираю милостыню — офицеры дают, вдовушки жалеют, — каждый день пьян и нос в табаке. Может, и пристану к какой зазнобе-молочнице — «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...»

Поезд подошел к какой-то большой станции и, стуча буферами, остановился. Седых глянул в окно, опрокинул в рот остаток самогона и заторопился:

— Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощение, за приятную встречу.

Федор подумал дать Седых денег, но боялся обидеть. Когда тот опустился на пол, решился и спросил:

— Может, тебе, Митя, нужны... деньги? Пожалуйста... Не обижайся...

Опять засмеялись глаза Седых:

— Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути, — и, падая на деревяшки в руках, сильно понес туловище. Федор пошел за ним.

В коридоре у выхода толпились офицеры.



— Дорогу инвалиду, товарищи офицеры, — весело кричал Седых и ловко двигался между сапог.

Федор дошел с обрубком сержанта к выходу с перрона. Остановились.

— Прощай, Митя. Прости меня...

— Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор, вы то при чем! — и, засмеявшись глазами, добавил: — А я, все же, пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.

Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в протянутую руку.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Соседка, пославшая телеграмму, оказалась седенькой старушкой. Увидев Федора, она ахнула, закрестилась, но, разглядев, заплакала:

— Господи, а я думала, Витя наш! Летчик был, под Сталинградом убили. Такой же большой, красивый.

А когда узнала, что Федор брат Сони:

— Голубчик вы мой, дьяволы они окаянные, такую девушку забрали! Она мухи не обидит, не то, что кого! Умница моя, только о покойнице и вспоминала да вас ждала. Что ж ей было родной матери голодной смертью дать помереть! Ну, работала для больной матери — что ж тут за контрреволюция? На их, иродов, всю жизнь работаем — так это ничего!

В комнате Сони уже жила какая-то семья. Старушка занимала маленькую каморку — бывший чулан. Чтобы не стеснять ее, Федор по дороге в Управление НКВД забежал на вокзал и заказал койку в комнате для приезжих офицеров.

Был уже двенадцатый час, а Федор все ждал в приемной начальника Управления. Секретарь — прилизанный лейтенант с острыми ушами что-то писал.

Зазвонил телефон. Секретарь взял трубку:

— Приемная начальника Управления... Я вас слушаю, товарищ начальник... Нет, не был... Слушаюсь... Есть майор Панин по делу сестры Софии Паниной...

Есть... Есть... Слушаюсь... — ухмыляясь, медленно положил трубку и повернулся к Федору:

— Начальник Управления может принять вас только завтра — в тринадцать ноль-ноль.

Сдерживая злость, Федор поднялся и, не прощаясь, вышел из приемной. Сбежал по красной дорожке лестницы, но часовой у выхода не пропустил — пропуск был не подписан; пришлось подниматься к секретарю.

— Боевому офицеру нервничать не к лицу, — заметил тот, ставя на пропуск штемпель.

«У-у-у... тыловая крыса!» — сжал зубы Федор. Секретарь блеснул белесыми глазками и язвительно прибавил:

— До свидания, товарищ гвардии майор Панин.

Федор долго бродил по сожженному и разбитому городу. Советские войска при отступлении взорвали центральную часть, бои завершили разрушение. Уцелели только окраины. Если в развалинах городов Германии было что-то трагическое и ужасное: стертый в кирпичный порошок Кюстрин, сожженные виллы Целлендорфа, разбитые дворцы Потсдама, джунгли изуродованных труб заводов Мерзебурга, то развалины родного города были жалки и беспомощны.

Странными показались размеры улиц, площадей и уцелевших домов — будто уменьшились вдвое. На месте дома, где жил Федор раньше, лежал толстый слой кирпича.

Знакомых в городе Федор не нашел.

Кладбище за войну расширили до самой рощи. Федор, проваливаясь в снег, едва разыскал среди занесенных могил некрашенный крест. «Мама...» — и внутренне растерялся, не почувствовав боли. Он даже попытался эту боль вызвать в себе, но ничего,

кроме холода, пустынности кладбища и невозможности поверить, что под снегом, в земле лежала его мать, не было.

Стоял перед крестом долго, пока не заметил, что пошел снег и стало темнеть. Одиноким, с обнаженной головой, покрывшейся снегом, он еще раз обошел могилу, остановился, перечел надпись, надел шапку и пошел по снегу к дорожке, оглядываясь на крест.

Утром его разбудили заводские гудки. Он так давно не слышал их, что вначале не мог понять — не тревога ли?

Ровно в час Федор входил в кабинет майора государственной безопасности Делягина. Крупный, с одутловатым большим лицом, Делягин мельком взглянул на Федора и продолжал писать.

— Здравствуйте, товарищ майор государственной безопасности, — поздоровался Федор, неловко выговаривая непривычное звание.

Делягин театрально удивился и, показывая рукой на стул, тонким, не идущим к его большому телу голосом, сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте, майор Панин. Садитесь, пожалуйста. Как доехали? Как Германия? Как воевали? — спрашивая, он рассматривал Федора и думал о чем-то другом. Долго смотрел на орденские планки.

Федор сел. Делягин пожевал бледными губами и вдруг заговорил резко и зло:

— Я знаю, зачем вы приехали. Напрасно приехали. Ваша сестра была связана с немецкой разведкой и работала против нас, и вас в том числе. Она созналась и будет приговорена к высылке.

Федор сжал зубы:

— Я приехал, чтобы выяснить дело моей сестры,



товарищ майор, — «государственной безопасности» решил не говорить. — Она моя сестра и не могла работать против меня. Она работала на консервной фабрике, чтобы кормить больную мать. Мать воспитала нас в ненависти к немцам (Федор врал, но так было нужно). Я кавалер пяти правительственных орденов — это вам доказательство, как воспитала нас мать. После смерти матери я остался у сестры единственным близким человеком — она не могла работать против меня!

Делягин нетерпеливо перебил:

— Мы знаем это лучше вашего, майор. Вы были «единственно близким человеком», говорите, а она путалась с немецкими офицерами.

Федор поднялся. Он так побледнел, что Делягин покосился на его пистолет.

— Вы не имеете права оскорблять мою сестру! Я знаю свою сестру лучше, чем вы! Вы говорите вздор о ее работе у немцев! Если она работала в немецкой разведке, ее надо расстрелять, а вы говорите «высылка»! Если вы не дадите мне возможности выяснить это дело, я завтра же еду в Москву с жалобой самому товарищу Берия.

Делягин впился зрачками в переносицу Федору и, когда тот, задыхаясь, остановился, неожиданно тихо проговорил:

— Жалобу, говорите, товарищу Берия? Ну-ну, поезжайте...

— Я требую свидания со своей сестрой! Мое командование предоставило мне отпуск по семейным делам, и я хочу привести их в порядок.

— Ваше командование... А вы вспомните, что вы в Советском Союзе, а не в Германии и что партизанщина кончилась, товарищ гвардии майор Панин, —

переходя на резкий, высокий голос, закричал Делягин:

— Вы забываете, что говорите со старшим по чину! Кто вам здесь дал право требовать? Свидания с подследственными не разрешаются, — потом пожевал губами, помолчал, и опять тихо, будто примирительно:

— Я сейчас проверю дело вашей сестры, а вы подождите в приемной.

Не желая сидеть в обществе остроухого лейтенанта, Федор прошел в коридор. В темном коридоре время от времени открывались двери и мимо пробежали люди в форме с папками и бумагами. Федор принялся ходить по коридору. Прошло минут десять, никто его не вызывал. «Сволочь!» — подумал о начальнике Управления. Твердо решил собрать материалы о Соне и ехать в Москву с жалобой.

Мимо пробежал какой-то худой, сутулый офицер. Фигура показалась Федору знакомой. Офицер тоже остановился и оглянулся.

— Панин! Здорово!

— Семушкин...

Федор обрадовался знакомому человеку в этом чужом и враждебном доме. Они вместе кончили школу. С тех пор не виделись.

— Да ты майор! В орденах! Поздравляю!

— А ты здесь? Давно?

— Да почти с тех пор. Ты зачем здесь?

— Да... жду вот...

— Пошли ко мне.

Семушкина Федор помнил, как посредственного ученика, но активного общественника и комсомольца.

Кабинет был небольшой и неряшливый.

— Старшим следователем в лейтенантах всю войну отбухал. Только «Красную Звезду» получил. Вам

на фронте — лафа. Ну, рассказывай, какими судьбами?

Федор рассказал о Соне. Федор только сейчас разглядел его лицо с синяками под глазами — лицо спящего днем.

Когда Федор рассказал о Делягине, Семушкин как-то странно поглядел на него и свистнул. Встал, прошелся и, подойдя к Федору, взял его за орденскую планку.

— Вот что, Панин. В знак прошлой юности... Я сейчас схожу кой-куда, а ты сиди здесь и не выходи. Понял?

Федор остался один, не понимая, что хотел этим сказать Семушкин.

Минут через пять тот вернулся и молча сел напротив:

— Вот что, Панин, — дело твое — дрянь. Сестра попала под директиву 109 — ее отправят в Среднюю Азию, в лагерь, и никто ей теперь не поможет, будь она святая. Понял? Твое дело того хуже: разве можно связываться с майором — съест и косточек не останется! Ты ему пригрозил жалобой — сестру это, конечно, не спасет, но Москва может майора ругнуть — не умеешь, мол, работать без скандала. Понял? И он тебя из своих рук не выпустит. Понял?

Чем больше говорил Семушкин, тем меньше понимал Федор.

— Я видел ордер на твой арест!

Федор даже привстал со стула.

— Но, ведь...

— Ты брось дон-кихотствовать, это тебе не десятилетка! Арестуют, а там Делягин найдет под какую статью тебя подвести, — опыт у него еще с 37-го богатый. Понял?

— Ничего не понял.

— Короче: мотай, Панин. Через полчаса будет поздно. До тех пор, пока не выедешь за пределы области, помни, что ты в делягинских руках. Мотай немедленно. Как — это ты сам думай. Для сестры оставь у старухи денег: на еду и передачу с теплым барахлом, — я зайду и научу ее, как это сделать. Понял? А ты — мотай и никуда, а прямо в Берлин. Там — своя власть, там кто и заступится за тебя. А здесь — никто: раз НКВД — никто не заступится. Понял? Через полгода можешь начать хлопотать о сестре: сейчас пусть утихомирится чистка. Теперь на пропуск на Егорова. Если засыпешься у выхода, скажи, что нашел в коридоре. Понял? Большого я не могу для тебя делать. И то в память прошлого... Помнишь, как ты Галю Сушко отбил у меня? Помни, что Петя Семушкин не совсем скурвился.

Федор наконец понял, — Соня будет отправлена в лагерь. Мелькнуло — пойти и застрелить Делягина. Но Соне это не поможет. Надо устроить передачи и потом хлопотать.

Семушкин выглянул в коридор и дал знак выходить.

Федор пожал ему руку и вышел. Часовой взял пропуск, мельком взглянул на штамп и наколол на гвоздь.

Прибежав к старушке, Федор отдал ей чемодан с подарками для Сони, деньги, себе оставил только на дорогу и одно пальто, которое решил продать в Москве, чтоб было на что хлопотать.

— Постарайтесь передать Соне, что я начну хлопотать и добьюсь ее возвращения. Как приедет в лагерь, пусть даст знать на ваш адрес. Мой — вы знаете. Я тоже буду писать на ваш. Пальто и теплое белье передайте ей, остальное продайте и купите валенки,



теплых чулок и побольше еды. Зайдет один товарищ, он вам расскажет, как передать. Спасибо вам за все. Я должен бежать. Никому не говорите обо мне. Пишите подробнее.

На попутной машине Федор добрался до соседнего города и сел в поезд.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Федор позвонил. За дверью слышались шаги. Первое, что он увидел, были заплаканные глаза Инги.

— Вас ист лос мит инен?

Девушка отвернулась и вдруг заплакала.

Федор стоял, растерянно глядя на неё. Плач становился громче. Федор взял девушку за плечи:

— Что случилось с вами?

— Майне мутти... майне мутти... — только и смогла сказать она.

— Где ваша мама?

Девушка закрыла руками лицо и побежала в столовую. Сбросив шинель, Федор пошел за ней, стараясь понять, что все это могло значить.

Инга сидела в кресле, уткнувшись лицом в спинку. Только сейчас Федор заметил креп на ее рукаве.

— Господи, и здесь тоже! — по-русски сказал он и, подвинув стул, сел рядом.

Жалость к ней, к себе, к Соне смешалась в нем. Он взял ее руку.

Не отнимая руки, не вытирая слез, девушка взглянула на него:

— Ваша сестра выздоровела?

— Нет, она заболела надолго... — ее арестовали... И, может быть, я ее никогда не увижу.

Инга с испугом посмотрела на его голову.

— Да, арестовали за то, что работала при немцах

и разговаривала с ними. Ну, вот так, если бы сейчас советские войска ушли, и вас арестовали бы за работу здесь.

— Это невозможно...

— Там все возможно... Все.

Он вдруг почувствовал, как он устал: и с Делягиным, и за три недели в Москве в беготне по защитникам, и от бесполезности хлопот, — когда в стране очередная чистка, никто не берется защищать попавших под удар — бесполезно.

Держась за руку девушки, он закрыл глаза:

— Там все возможно... Меня тоже хотели арестовать за то, что я заступился за сестру, Инга, — он впервые назвал ее по имени, — и вот я снова здесь...

— Боже мой, почему так много горя на свете? — тихо сказала она, пожимая ему руку.

Они долго сидели так, не нарушая тишины и того, что нарастало в них — молодых, одиноких, брошенных друг к другу непонятными событиями. Давно замолчал шум горящих брикетов в печи. И даже, когда окна напротив стали исчезать, все еще говорил в темноте голос Федора и голос Инги.

Так нашли они друг друга, два ограбленных молодых человека двух воевавших на смерть народов. Ромео и Джульета современных Монтекки и Капулетти.

У Федора еще оставалось два дня отпуска. Они провели их дома. Они были счастливы, как могут быть счастливы два молодых человека в первые дни их любви. Свет для них стал чище, краски ярче, горе мягче.

Телефонные звонки веселили их. Один раз кто-то звонил даже во входную дверь. Они никому не отвечали. Они были похожи на людей, которые после

долгой, изнурительной жажды пьют и не могут напиться.

И когда пришел день расставания, они долго прощались. Она похудела и пожелтела, но еще ярче были щеки и глаза. Он несколько раз возвращался от двери — уже одетый в шинель и снова целовал ее и снова говорил, как он ее любит.

На улице он перешел дорогу и оглянулся — в окне спальни, за занавеской увидел ее, теперь дорогое для него лицо в шапке темных волос.

В комендатуре Федора встретили приветливо, все расспрашивали о Москве, о жизни дома. Шутили, что похудел, Федор что-то отвечал, усталый, светлый, тихо радуясь, что скоро домой. Но обедать пришлось с Барановым и Моргалиным, которым тоже хотелось узнать новости о родине.

Баранов рассказал, что приезжал Василий, привел «Мерседес» и что он, Баранов, все устроил в автоотделе с документами генеральского «Хорьха».

После конца занятий было назначено общее собрание, явка на которое была обязательна для всех офицеров и солдат комендатуры.

Актовый зал был полон. Председательствовал Моргалин. *г о р о в*

— Товарищи солдаты и офицеры, повестка сегодняшнего нашего собрания следующая:

1. Международное положение. Докладчик подполковник Попов из Политуправления группы войск.

2. Приказ Главнокомандующего и Главноначальствующего, — торжественно объявил Моргалин. И сразу же на эстраду лихо вышел похожий на цыгана офицер в подполковничьих погонах.

— Товарищи, мы, советские люди, в результате победоносной отечественной войны оказались далеко



за пределами нашей горячо любимой Родины и являемся ее форпостами на границе капиталистического мира. Поэтому нам, больше, чем кому-либо, необходимо правильно разбираться в международном положении.

Кое-кому в мире не нравится, что из войны с фашистской Германией мы вышли не только победителями, но на много сильнее, чем были до войны. Империалисты всего мира и всех мастей надеялись, затягивая войну, затягивая открытие второго фронта, оставляя нас один на один со всей мощью немецких полчищ, надеялись обескровить нас, сделать нас бессильными, с тем, чтобы после войны диктовать нам свои условия. Но господа империалисты ошиблись! Наш вождь и учитель, гениальнейший полководец всех времен, великий Сталин (Морголин захлопал в ладоши, понукая глазами собрание. За ним захлопали коммунисты, а потом кое-кто из беспартийных. Первым рядом, на виду у Моргалина, пришлось хлопать всем) давно разгадал планы капиталистических заправил. В результате его гениальных предвидений мы с вами находимся в Берлине, в логове разгромленного нами фашизма, наши товарищи по оружию находятся в Венгрии, в Румынии, Австрии. Вы можете быть уверены, что мы не уйдем, пока в этих странах не будет народной демократической власти без капиталистов и их наймитов.

Рабочий класс, трудящиеся всего мира приветствуют нашу победу и окрыленные ею ведут успешную борьбу за свое освобождение. Не за горами народно-демократическая Италия, народно-демократическая Франция, не за горами, товарищи, народно-демократическая Европа! Мы имеем на сегодняшний день многомиллионные армии коммунистических партий, —

за двадцать семь лет существования советской власти в мире выросло около двадцати пяти миллионов членов коммунистических партий. И когда пробьет час, мы протянем им руку нашей братской помощи!...

Федор вспомнил анекдот, ходивший в Советском Союзе в 1940 году, когда «протягивали руку братской помощи» народам Балтики: возмущенный Иден спрашивает у Молотова: «Когда вы перестанете протягивать руку братской помощи?» — «Когда вы протянете ноги», — отвечает Молотов. «Ничего не изменилось», — подумал Федор.

—... Капиталисты хотят восстановить Германию, как плацдарм против Советского Союза. Хотят возродить военную индустрию Рура. Формируют в западных зонах дивизии иностранных наймитов и немецких нацистов. Военные машины Америки и Англии продолжают работать, будто война и не кончалась. Против кого? Возможен один ответ — против нас!

Вот почему, товарищи, нашему правительству приходится, вместо долгожданного отдыха, напрягать все силы страны для обороны! Империалисты думают, что советский человек войной размагничен. Нет, советские люди, верные своему трудовому долгу, советские солдаты, верные своему военному долгу, глубоко сознавая ответственность перед Матерью-Родиной и всем трудовым человечеством, не ослабят усилий, а удвоят и утроят их, чтобы в минимальный срок восстановить разрушенное войной и увеличить до неведомой высоты мощь Советского Союза!

Новый послевоенный пятилетний план все предусмотрел, и господа капиталисты это знают. Потому и ненавидят нашу Родину, потому и стараются и будут стараться сорвать наши созидательные планы.

Все это характеризует общее международное положение. Перейдем к отдельным странам...

Докладчик стал перебирать страны Европы и Азии. Федор не слушал и думал об Инге. Сзади кто-то переговаривался, зал явно не слушал докладчика — все было известно из газет, радио, политзанятий.

Доклад тянулся часа полтора. Когда докладчик кончил, все облегченно ему зааплодировали.

Поднялся Моргалин:

— Вопросы есть, товарищи?

Зал молчал.

— Товарищи, вопросы есть? — спросил снова Моргалин.

Кто-то крикнул из задних рядов:

— Все понятно!

— Переходим ко второму пункту сегодняшней повестки.

Моргалин взял со стола бумагу:

«Приказ Главнокомандующего Группой Советских Оккупационных Войск и Главноначальствующего Советской Военной Администрации в Германии, генерала армии Соколовского.

В связи с участившимися случаями сожительства солдат и офицеров группы войск и работников СВАГ с немецкими женщинами, в связи со случаями заражения венерическими болезнями немецкими женщинами советских солдат и офицеров, в связи со случаями попыток вербовки советских людей разведками иностранных государств через посредство немецких женщин,

п р и к а з ы в а ю :

1. Всему личному составу группы войск и СВАГ объявить: за сожительство с немецкими женщинами виновных гражданских лиц откомандировывать в Со-



ветский Союз в 24 часа, военных лиц — подвергать дисциплинарным наказаниям вплоть до отдачи военному суду.

2. Начальнику Комендантского Управления генерал-майору Горохову принять меры к усилению борьбы со случаями ночевок на квартирах у немецких женщин.

3. Командирам частей и подразделений сократить до минимума выдачу увольнительных офицерскому составу. Рядовой и офицерский составы должны находиться на территориях своих частей.

4. Запретить хождение в немецкие рестораны, в немецкие увеселительные заведения и немецкие кино. В театрах выделить для советских граждан места, отделенные от публики.

5. Разрешить командирам частей и начальникам управлений выписку семей по согласованию с Военным Советом и моим помощником.

6. Запретить военнослужащим и гражданским лицам хождение по немецким магазинам и рынкам.

7. Запретить посещение западных секторов Берлина...

Федор напряженно слушал: «запретить», «запретить», «запретить».

Моргалин отпил из стакана воды.

— Объявить, что капитан Егоров — офицер комендатуры города N за нарушение воинской дисциплины, выразившееся в женитьбе на немке, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей».

Федор знал Егорова: мягкий, интеллигентный офицер, должен был демобилизоваться, страстно влюбился в немецкую женщину, согласившуюся ехать с ним в страшную и неизвестную для неё Россию. Запутавшись, Егоров решил обвенчаться с нею, а потом просить разрешение на выезд с нею в Россию.



Моргалин уже не читал, а говорил:

— Мы, живущие среди капиталистического мира, обязаны, как нигде, помнить о бдительности. Нас окружают шпионы, провокаторы, наших офицеров немецкие зубные врачи заражают сифилисом, «кто-то» подсылает в города, где расположены наши части, проституток-венеричек. В постелях, показывая фокусы разврата гнилой Европы, немки нашептывают о «прелестях» капиталистической жизни!

Нам, работникам комендатур, поручается борьба с этим злом. И мы искореним его! Если раньше, во время войны и сразу же после войны, мы смотрели сквозь пальцы на случаи сожительства, теперь мы будем выжигать их каленым железом!

Но, если это поручено нам, работникам комендатур, то как мы должны рассматривать случаи сожительства среди наших офицеров и солдат? Мне хорошо известно, кто не ночует дома, кто имеет всяких смазливых уборщиц и хозяек квартир! Предупреждаю, что мы не будем уговаривать — все слушали этот приказ. Завтра все распишутся на нем, чтоб не говорили — не знали, мол.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Все, чем жил до этого времени Федор, словно отошло и потеряло свою остроту. Даже арест Сони. Он знал, что надо переждать год, а затем хлопотать. Он послал старушке два письма и еще денег с просьбой передать или переслать Соне. Желание возбудить дело против Делягина тоже угасло. Уже в Москве, советуясь с защитниками, он понял безнадежность такой жалобы: выписанный ордер на арест Делягин, после бегства Федора, конечно, уничтожил.

Теперь, когда все мысли его и желания были дома, где ждала его Инга, Федору все это казалось давно прошедшим, как то, что было на войне.

К своим обязанностям в комендатуре он приступил, но никак не мог охватить всех накопившихся за отпуск дел. Вот и сейчас он сидел в кабинете и, перелистывая бумаги, совсем не думал о них. Рядом лежала копия приказа коменданта Берлина о мероприятиях по борьбе с сожительство́м с немками — в развитие приказа Главнокомандующего и Главного начальствующего. Федор невольно думал о приказе, и тревога за Ингу, за их встречу росла в нем, и он старался придумать, как обезопасить ее и себя.

Выходить с Ингой из дому, бывать с нею в театрах, в кино — невозможно. В доме, рано или поздно, соседи догадаются, если уже не догадались. Кто-нибудь обязательно донесет в комендатуру. Могут придти с

неожиданным обыском, как это обычно делается. Днем не страшно — уборщица и только, но ночью! Федор уже думал сделать под видом ремонта потолка Ингиной комнаты замаскированный люк: в случае «непрошенных гостей» Инга могла бы спускаться через люк из его столовой к себе в комнату.

Но в мысли этой было что-то оскорбительное, и он не приходил ни к какому решению. Почему-то вспомнился Валька — сержант Волков. Месяцев пять тому назад Валька познакомился где-то с молодой немкой — хорошенькой хохотуньей. Стал ухаживать. но девушка, дальше встреч и добродушного подсмеивания над незнанием Валькой немецкого языка, его не подпускала. Кончилось тем, что парень влюбился. Он писал ей письма, но так как посвящать в свои чувства товарищей не хотел, а переводчика боялся, то однажды пришел к Федору и, застыдившись, попросил написать за него письмо. С тех пор Федор писал ему отдельные немецкие слова с тем, чтобы Валька сам составлял письма и так учился немецкому.

Однажды Валька пришел опущенный и сумрачный. Синие его глаза бегали и не смотрели на Федора.

— Ты что такой сегодня?

— Беда, товарищ гвардии майор... Эх, все..., — вдруг грубо выругался он и отчаянно махнул кулаком.

— Что случилось?

У Вальки, как у обиженного мальчика, дрогнула верхняя губа:

— Триппером наградила, — и, озлобляясь, закричал:

— Застрелю заразу, и все тут!

Девушке не удалось удержать сержанта на расстоянии ухаживаний, и Валька, после трех дней счастья без оглядки, вдруг упал в страшную яму: ужас от

известной только по рассказам других болезни, стыд, оскорбленность, горой свалились на него, когда немец-доктор сказал «гонорея».

Федор, как мог, успокоил его. Тогда страх болезни сменился обидой.

— Я всей их семье помогал, продукты таскал, кормил... Да что там, — просто влюбился, а она вон как, — и снова махнул кулаком.

Федор напомнил ему, что девушка избегала близости и что лучше всего объясниться с ней. Этот довод подействовал на сержанта, он утих, задумался и согласился, что лучше поговорить.

В тот же день, поздно вечером Валька пришел к Федору на квартиру. На улице лил дождь и он пришел насквозь промокший. Федор дал ему чашку горячего кофе, усадил у печки. И Валька рассказал: в дни падения Берлина девушку изнасиловали советские солдаты и заразили. Денег не было, и она до одурения пила олеодрон. А когда доктор сказал, что она здорова, снова стала веселой и жизнерадостной. Познакомившись с Валькой, пошла к врачу и объявила, что «собирается замуж». Доктор посоветовал пройти повторный курс, что она и сделала. Но, когда Валька пришел к ней, она по одному его виду поняла о случившемся, расплакалась и все рассказала.

— Что же мне делать, товарищ майор? Наши нашкодили, да я и сам не без греха. Чем же она виновата? Не говорила — хотела, чтобы все по-хорошему. Не виновата она, товарищ майор! — и махнул кулаком. — И любит меня, от стыда скрывала. Ну, короче, повел я ее к своему доктору. Обещал обоих вылечить за продукты.

— Как же ты с ней обо всем договорился-то?

— Да я, товарищ майор, со словарем ходил. Че-



тыре часа разговаривали. Беда без языка. Я ведь и в постель словарь беру! — неожиданно рассмеялся он, и стал похожим на обычного сержанта Волкова.

Так они и лечились вдвоем. Пока однажды Валька не прибежал к Федору:

— Все в порядке, товарищ майор! Здоровы!

Вчера сержант приходил снова, встревоженный приказом Соколовского:

— Товарищ гвардии майор, разрешите опять к вам за советом.

— Что, опять? — рассмеялся Федор.

— Да нет, вот приказ. Моя Рудка придумала нанять квартиру в английском секторе, так я хочу просить, чтоб ваш Карл ее барахлишко туда вечерком завез.

«Может быть, и мне нанять для Инги комнату где-нибудь в другом секторе? Попрошу Валькину зазнобу, чтоб устроила. Но как тогда ездить туда? В форме нельзя, надо переодеваться в штатское, и автомобиль с советским номером, и ночью могут позвонить или приехать, а меня нет. Подследят. Так в «шпионы» попадешь. Нет, не годится... Люк — лучше».

Чувство тревоги росло. Мысль снова вернулась к Вальке.

«Ну, попадется, — что тогда? Демобилизуют и с «волчьим билетом» отправят на родину. А парень ничего дурного не делает. Просто любит и любим. И сколько таких Валек! Ведь за разврат, за случайную встречу, даже за насилие не наказывают — «для здоровья» говорят. А чуть проглянет чувство — преступление. У русского же человека без чувства бывает редко. Даже про маршала Жукова говорили, что у него немка была. А у полковника Елизарова, зампо-

лита коменданта Берлина, — Федор знал это, — красавица кухарка — «для здоровья».

Все это не имело отношения к его любви: немка ли Инга, русская ли, француженка ли — ему было все-равно. Может быть, ему хотелось, чтобы она была русская — это сделало бы их близость еще полнее.

Но приказ говорил о немках и Инга была немкой. Очередной шаг пресловутой «бдительности», отгораживания советского человека от капиталистического мира. Стань Германия советской — никакого запрета не было бы. Даже наоборот. Суровость приказа лишней раз подчеркивала охватившую армию волну увлечений женщинами местного населения. В этом сказывалась и солдатская одинокая жизнь, и экзотика, но больше всего, может быть, сказывалось то, что немецкие женщины были одеты в чистое «заграничное» платье, в котором в Союзе щеголяли редкие столичные жители, говорили на непонятном европейском языке, комнаты и квартиры их поражали мебелью, коврами, посудой и опрятностью. Городская немецкая женщина внешне была похожа на недосыгаемую для солдата или офицера женщину верхов советского общества. Этим и объяснялись совершенно нелепые связи. В интимной жизни неизощренные русские крестьяне и рабочие встречали то, что им казалось чувственностью и что, на самом деле, было только опытной Европой. Сказывалось и безразличие советского человека к социальному положению людей.

Недаром в армии ходил анекдот о «ликвидации проституции в Балтике» по той причине, что все проститутки вышли замуж за советских офицеров.

Федор сердцем понимал, что все это не имело отношения к нему. Чувство к Инге пришло иначе. Больше всего он любил в ней беспомощную, одинокую

юность и то, что она отдала ее, совсем, навсегда поверив ему.

Он подвинул к себе папку с бумагами и хотел заставить себя заняться делом, но пришел дежурный, лейтенант Киселев:

— Товарищ майор, там какая-то немка к вам.

Вошла полная, в шляпе-корзинке, облепленной цветами, немка, лет пятидесяти.

— Гутен таг, герр комендант.

— Гутен таг, зецен зи зих, битте.

Немка села, поставив на колени сумку для покупок.

— Чем могу быть полезным?

— О, герр комендант! Эта фрау Шульц, была всегда безчеловечна, но то, что она делает с Петером — это садизм! Она убьет его! Она била своих остовских девушек...

— Кто такая фрау Шульц и кто такой Петер?

Немка удивленно посмотрела на Федора.

— Фрау Маргарита Шульц моя соседка по квартире. У нее пятилетний сорванец. Я вынуждена просить о ее выселении.

— Что она с ним делает?

Немка опять удивленно поглядела на Федора.

— О, Петер — это моя собачка. Он такой милый, такой ласковый...

Федор не выдержал и рассмеялся.

— Нет, нет, господин комендант, она и её сорванец так его бьют, что Петер должен был защищаться...

Федор позвонил.

— Она била своих остовок...

Вошел дежурный.

— Товарищ лейтенант, заберите гнедиге фрау и объясните, чтобы она шла по своему делу в немецкую

полицию. К сожалению, гнедиге фрау, у меня нет времени.

Киселев взял у немки сумку:

— Пойдем, мамаша, — и стал подталкивать немку.

Посетительница развеселила Федора.

«Странные люди — сами голодают, а собак и кошек держат. Она совершенно убеждена, что все в квартире должны любить и заботиться о ее собаке и совсем не думает, что собака может помешать соседке с мальчиком». Месяца два тому назад в их районе от голода умерла старушка — она половину своего, и без того голодного, пайка отдавала своим двум собакам. А в Кёниг-Вустергаузене произошел совершенно дикий случай: пьяный солдат застрелил овчарку — хозяйка собаки от горя повесилась. После самоубийства в доме нашли непристойные фотографии хозяйки с собакой — даже выдавшие виды солдаты плевались.



## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Мы подождем. Политика переменится — вот увидишь. Только люби меня крепко, как я люблю тебя.

— Политика меняется, но не так скоро.

— Ты сам говоришь — стань Германия советской, тогда ничто нам не помешает соединить наши жизни. Может быть, она скоро и станет советской.

Они сидели в кресле, у печки. В глазах Инги дрожало отражение пламени.

— Радость моя, ты ничего не понимаешь в политике. Это очень хорошо. Но тебе уже теперь скучно: ты ходишь одна в театр, одна в кино, а мне так хочется просто пройтись с тобой под руку по вечерним улицам...

Резко зазвонил входной звонок. Инга испуганно вскочила с колен Федора и бросилась из комнаты. Федор тоже встал и, причесывая волосы, сердясь на себя за испуг, пошел отпирать. Инга уже стучала ведром на кухне.

За дверью стоял задохшийся от подъема по лестнице Марченко, а в стороне, в беличьей шубе, — Екатерина Павловна.

Федор растерялся:

— Прошу...

— А мне, Федор Михайлович, можно? — будто в шутку спросила Екатерина Павловна, но по глазам

Федор видел, что ей не до шуток — лицо похудело и казалось больным.

Марченко молча снял шинель. Федор помог Кате.

В столовой она села у печки в кресло, где только что сидели Федор и Инга, — хорошо, что вещи не умеют рассказывать.

Марченко подошел к буфету и молча, подряд, выпил три рюмки водки, — Федору показалось — для храбрости и что пришли они вместе неспроста.

Он извинился и пошел на кухню.

Инга стояла посреди кухни с ненужной тряпкой в руках и напряженно смотрела на Федора.

— Дорогая, приехали гости. Где у нас продукты? Я сделаю все сам. Это свои — ты не беспокойся, только туда не входи.

Он хотел поцеловать ее, но девушка отвернулась. — Ты сердишься?

Она зло поглядела на него. На глазах стояли слезы: — Если это твои друзья, то почему мне нельзя быть рядом с тобой? Ведь они друзья и не предадут тебя?

— Инга, дорогая моя, как ты не поймешь: они сегодня друзья, а завтра — Бог их знает. Ты не знаешь нашей жизни...

— Нет, ты просто не хочешь, чтобы эта женщина видела меня. Это фрау-оберст, которая несколько раз звонила тебе, я узнала ее по голосу.

— Клянусь тебе, что не в ней дело. Я ведь люблю тебя одну. Будь умницей. Нам нельзя рисковать.

Инга проглотила слезу и отвернулась. Федор обнял ее за плечи:

— Ну, не надо... Пожалуйста, не надо...

Она спиной прижалась к нему и погладила по руке:

— Хорошо, любимый. Я здесь буду готовить, а ты будешь приходить и забирать.

Предстоящее, неизбежное объяснение с Екатериной Павловной, особенно после его письма, пугало Федора.

Узнав от Баранова о его возвращении, она несколько раз звонила ему, а теперь, захватив Марченко, решила ехать сама.

Когда Федор вернулся, она сидела в кресле, поджав ноги, и смотрела в пламя печи. Марченко мрачно ходил по комнате.

— Ты что ж, паря, неделю в Берлине и никому знать не даешь? А?

Катя снизу посмотрела на Федора. Глаза её, блестящие, с дрожащим отражением огня, казалось, жили отдельной от нея жизнью.

— Работы накопилось за отпуск, Николай Васильевич, — но, понимая, что это не отговорка и что, все-таки, они были близкие и неплохие люди, Федор решился:

— Да и дома такая беда, что никак не опомнюсь.

— А у тебя что?

— Сестру арестовали, — быстро ответил Федор и, не останавливаясь, стараясь не глядеть на Катю, стал рассказывать о своей поездке домой и в Москву.

Марченко слушал и сердито сопел. Катя смотрела на Федора так, что он знал — она больше не сердилась на него ни за письмо, ни за долгое молчание, а только боялась, как бы не пострадал он.

— Вот такие дела получаются. Что делать — не знаю.

— У Николая Васильевича тоже несчастье.

— Что такое?

Марченко засопел:

— И не говори, Федорушка.

— Что же такое?

— Марию Ивановну чуть не убили, — ответила за Марченко Катя.

— Говорил я ей — брось ты возиться с этим барахлом! Нет, надо ей ковер, шубу, то да се. Одним словом — баба! Через неделю, как ты улетел, поехала и она. Ну, а дома ночью бандиты налетели, все забрали, а ее ножом в спину: раз из Германии, — значит, есть, чем поживиться. Слава Богу, сегодня телеграмму получил — лучше ей. Нет, хватит с меня Германии! Не доведет она до добра — помяни мое слово, Федорушка. Вот твою сестру посадили за работу на русской фабрике при немцах, а придет время — нас станут сажать за то, что на немецких работали. Не раз, ведь, было. Уезжаю! Бросаю все к чорту и уезжаю! И тебе, Федя, советую — бросай все к лешему и катай ко мне на комбинат. Архангельск тоже город. Буду тебя в командировки посылать в Москву, при комбинате квартиру дам, не то, что в Москве, а настоящую! А? Никакой Делягин тебя у меня не достанет. А там и за сестру начнем хлопотать.

Катя молча смотрела на Федора, словно ждала, что он ответит.

— Да... может быть, вы и правы, Николай Васильевич... Спасибо... Ох, совсем забыл! Извините, — так и не ответив, побежал на кухню.

Стал носить тарелки с едой.

— Вам помочь, Федор Михайлович? — Катя встала, чтобы идти с ним на кухню, но Федор поторопился отказаться.

Она подумала, что он не хочет оставаться с ней без Марченко, и настроение у нее снова испортилось.

В кухне Инга нарезала ветчину.



— Тебе лучше уйти, Инга, начинает темнеть.

— Я мешаю? — тихо спросила девушка и тут же сняла фартук.

— Ну, почему мешаешь? Ты, ведь, знаешь... — раздражаясь на нее, на себя и на гостей, вспылил Федор.

— Хорошо.

Они молча дошли до входной двери: она впереди, обиженная, готовая вот-вот расплакаться, Федор сзади, с тарелками в руках, чувствуя неловкость за свою раздражительность. Он хотел проститься с нею, но руки были заняты и он только громко, чтобы услышали в столовой, сказал:

— Ауфвидерзеен!

— Кто там у вас, Федор Михайлович?

— Уборщица, — как мог безразличнее ответил он.

Кате снова стало легко, — значит, ошиблась: там тоже был посторонний.

За едой разговор долго не клеился, но потом свернул на тему об охватившей Советский Союз эпидемии преступности. Федор рассказал о Москве, о милиционерах на каждом углу, о безногом Седых, о банде «Черная кошка», наводившей ужас на все города Союза.

Разговорился и Марченко. Он рассказал о генерал-майоре Мальцеве, которого знал раньше в Омске — был начальником Омского НКВД, а теперь приехал «делать революцию в Германии», как выразился Марченко. Мальцев рассказывал о «бандах» на Кавказе, в Балтике и Западной Украине. «Банды» в сотни человек грабили советские государственные магазины, склады, банки, убивали милиционеров, членов партии, часто раздавали населению награбленное. На борьбу с этими партизанами (Марченко так и сказал — «партизанами») было брошено несколько дивизий.

— Нет-нет! Домой! Еду домой! Пусть бандиты, пусть партизаны. На них оружие найдется. А вот с этой Германией попадешь в такое, что никто в мире не поможет, — Марченко встал и, хлопнув ладонью по столу, вышел из комнаты.

Катя словно только этого и ждала — она быстро взяла свою сумку и торопливо что-то из нее вынула.

— Ответьте мне, Федя..., в Карлсхорст..., до востребования...

Федор, тоже торопясь, взял письмо и спрятал в карман кителя. Потом также молча взглянул на нее. Катя измученно улыбнулась ему.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Жизнь моя, единственный, любимый, вот уже три дня, как ты в Берлине. Я не отхожу от телефона и жду, что ты позвонишь, и я услышу твой голос. Если выхожу в другую комнату, — оставляю двери открытыми, чтобы не пропустить твоего звонка. Часами лежу на диване рядом с телефоном и все жду, все жду, жду...

Но ты не звонишь. Я провожу дни, мысленно разговаривая с тобой. Ночами лежу в темноте и сотый раз переживаю наши редкие встречи и ту ночь, которая никогда не вернется. Если бы ты знал, как я мучилась от стыда за нее.

Ужасно было стыдно, не хотелось жить, но теперь прошло... Ведь ты, наверно, подумал, что «с жиру»? Вот подумала — и опять стыдно. Ну, ничего, главное, что ты не звонишь и, видно, не позвонишь. Я не сержусь и попрежнему жду.

Твое единственное письмо всегда со мной. Выздоровела ли твоя сестра? Мне хочется когда-нибудь встретить ее — она, наверно, похожа на тебя.

Только что звонили. У меня перехватило дыхание — вдруг ты! Не переставая, надеешься на чудо. А оно, ведь, уже произошло, Федя! Но об этом потом... Это был знакомый мужа, я сказалась больной и вернулась к мыслям о тебе и своему ожиданию. Я никого не хочу видеть, мне никто не нужен, кроме тебя, мой

сероглазый. И теперь самое главное, про чудо — я буду тебя иметь! Буду! Удивляешься? Я даже не буду иметь, а уже, понимаешь, уже имею! Тихо радуюсь и жду дня, когда обниму твоего, нашего, Федя, сына.

Не сердись, милый, — никто и ничто не помешает теперь мне.

Я все сказала Аркадию. Он, эгоист, холодный, расчетливый, поразил меня — как мало мы знаем людей, даже близких: долго молчал и два дня не разговаривал со мной, а потом пришел со службы — днем, бледный, похудевший: «я буду ребенка любить, как сына» (так и сказал — сына, он чувствует, что сын; ему ужасно теперь больно за то, что у нас не было детей). «Только не встречайся с ним». Но разве я могу обещать не встречаться с тобой, возлюбленный мой. Я все так же жду твоего звонка, чтобы бежать к тебе, прижаться и выплакать муку этих дней. Да и о чем теперь говорить, — я уйду от него. Я хотела уйти сразу же, но он просит сделать это под предлогом отъезда в Москву, с тем, чтобы никто здесь не знал. Видишь, какой он — и любит, и обо всем помнит. Я уеду в Москву к маме. Но мне так хочется повидать тебя.

Я знаю, что ты меня не любишь. Ты даже не думаешь обо мне, а если думаешь, то, как о случайной женщине. И в этом виновата я сама — так настойчиво искала встреч с тобой. Но все-равно. Если бы не это ожидание счастья, я никогда бы не простила себе! Ты для меня тот, кого я ждала всю свою жизнь и я благодарна судьбе, что встретила, пусть мельком, пусть стыдно, но зато теперь есть смысл жизни.

Не думай, что хочу этим подействовать на тебя, что ребенком хочу как-то привязать к себе, обязать. Нет-нет! Я знаю, что ты меня не любишь, и не упрекай



себя в этом, милый, — ты ни в чем не виноват. Только не думай обо мне плохо. Если не забудешь, вспоминай меня, как человека, полюбившего тебя всем, что у него было.

Я буду жить с мамой, стану работать, буду растить сына. Я знаю, что он — сын и что будет похож на тебя: большой, сильный, теплый; буду учить его, водить гулять, с ним разговаривать, с ним печалиться, с ним радоваться.

Когда-нибудь, вы, может быть, встретитесь. Тебе не придется краснеть за него, Федя.

Возможно я уеду с мамой в Архангельск — Николай Васильевич предлагает мне работу у себя. Устала я от Москвы, от этого постоянного напряжения нашей жизни. Ведь я человек и хочу человеческой жизни, с ее обыкновенными радостями, теплом, волей. Мне кажется, что провинция свободнее от наших порядков, человечнее, и сыну там будет лучше, и ко мне будет ближе.

Я замужем семь лет. Что я видела? Муж вечно занят работой, карьерой. Знакомые тоже. Если я не нуждаюсь и не нуждаюсь, как абсолютное большинство наших людей, то всегда одна. С юности хотелось какой-то необыкновенной жизни, всегда жила ожиданием. Замуж вышла в минуту усталости. И вот пришел ты... И опять нет тебя.

Знаешь, чего я ждала в то утро? Мне казалось, что ты возьмешь и увезешь меня от мужа, от обеспеченности, от всего, далеко-далеко.

С тобой я пошла бы и в глушь, и в бедность, на край земли. Но ты меня не взял...

Я не упрекаю тебя. Я просто тебе рассказываю.

Может быть, когда-нибудь, через много лет, ты поймешь меня.

Когда твой шофер привез письмо, я все еще ждала чуда, но письмо было холодное, ты уехал к больной сестре, не повидав меня. Мне не было даже больно, хотелось умереть. А через несколько дней я узнала о своей беременности. И сразу все посветлело, стало покойнее.

Теперь я почти счастлива и благодарю тебя. Видеть тебя хочу, но пусть это тебя не тревожит. Я уеду в начале марта.

Твоя».

Письмо лежало между тарелок с остатками еды. Федор смотрел на «твоя», и где-то внутри его билось — «Боже мой, Боже!...»

Сколько прошло времени, как ушли гости, он не знал.

Пробудил его стук снизу — стучала Инга (три дня тому назад немецкий плотник, откуда-то из Сименс-Штадта, сделал в полу люк).

Федор тяжело поднялся, спрятал письмо в карман, отодвинул тумбу, отвернул ковер и поднял крышку. Снизу из темноты смотрело смеющееся лицо Инги. Она стояла на стуле, установленном на столе.

— Ушли? — радостным шопотом спросила она, протягивая руки.

— Да... ушли... но... но меня вызывают в комендатуру... дежурный... что-то случилось... — ему хотелось побыть одному, ему казалось, что надо обязательно что-то додумать.

По напряженному лицу Федора Инга угадала, что что-то на самом деле случилось:

— Я только попрощаюсь с тобой и стану ждать тебя.

Федор опустился на колени, крепко взял руку девушки, другой рукой она ухватила за его запястье.

— Что случилось, милый? — уже в комнате спросила она его.

Федор, будто для того, чтобы закрыть люк, нагнулся:

— Не знаю... что-то неприятное.

— Неприятное для тебя?

— Не думаю, но идти надо.

Девушка заглянула ему в глаза.

— Право, нет... ты не волнуйся... ложись спать, я скоро вернусь.

— Может быть, мне лучше спуститься к себе? Ведь, если кто вдруг придет, я спущусь, а ковер и тумба останутся не на месте...

— Да, тебе лучше спуститься.

Девушка наморщила лоб. Федору стало стыдно. Он обнял ее и спрятал лицо в волосах, пахнущих постелью:

— Прости меня, Инга... Я тебя очень люблю... нервничаю что-то.

— Ничего, милый. Мне очень хочется ждать тебя здесь — в нашем уголке, но надо быть благоразумными. Всего хорошего, милый. Скорей возвращайся, я не буду спать.

Уходить Федору не хотелось, но Инга слышала снизу. Стрелки на часах соединились на 1. Он оделся, положил в карман пистолет и вышел на лестницу.

Когда проходил мимо двери вниз, вспомнил о Рождестве, о подарке, об ингиной матери... И, словно в ответ, дверь распахнулась и девушка — быстрая и легкая — метнулась к нему, прижалась к шинели, шепнула «не забывай меня» и так же бесшумно исчезла за дверью.

Идти к коменданту ночью без дела было нелепо.

Федор медленно пошел темной улицей по направлению к ресторану «Нева».

Шел и думал о Кате. Остановился под фонарем и прочел: «Я даже не буду иметь, а уже, понимаешь, — уже имею». Снежинка упала на письмо и растаяла. Он чувствовал, что в жизни его случилось что-то очень серьезное... Освещенное фонарем пространство над ним в падающих снежинках, окруженное ночью, казалось нереальностью. Казалось, что в мире осталось это пространство и в нем один он.

В «Неве» было шумно и накурено. Немецкий оркестр играл «Офицерский вальс». Посетители — офицеры, гражданские из СВАГ и две или три русские женщины — громко разговаривали и пили. Немцам в советские рестораны вход был запрещен.

Незаметно от знакомых Федор прошел за оркестр и сел у свободного столика, спиной к залу.

Снова и снова перечитывал он письмо, пока его не пробудил чей-то голос:

— Это место свободное, товарищ майор?

Какой-то лейтенант с кроличьими глазами на угреватом лице стоял у стола.

— Пожалуйста, — опомнился Федор, и только тогда заметил перед собой давно принесенную официантом водку и закуску.

Выпив подряд две рюмки, опять стал смотреть в письмо, будто надеялся что-то увидеть и понять. Подошел официант принимать заказ у лейтенанта. Вдруг Федор почувствовал, что официант из-за его спины заглядывает в письмо. «Тут, как тут!» и обернулся, но официант уже смотрел на лейтенанта. «Этот тоже!» — Вид майора, читающего ночью в ресторане письмо, показался странным: агент-официант сообщил, другой агент — лейтенант подсел.



— Дайте счет! — резко сказал он, глядя на официанта. Тот пошел в кассу.

— Вы приезжий, товарищ майор? — улыбаясь гнилыми зубами, спросил угреватый лейтенант.

— Да, — зло буркнул Федор.

Официант долго не возвращался. Лейтенант уходил в «уборную».

На улице к Федору подошел патруль — офицер с двумя автоматчиками.

— Ваши документы, товарищ майор.

Стиснув зубы от нарастающего бешенства, Федор достал удостоверение. Офицер осветил книжечку фонариком и стал тщательно разглядывать.

Федор чувствовал, что, начни тот спрашивать, он накричит.

Но офицер вернул удостоверение и козырнул.

«Проклятая жизнь! Как они не поймут, что так же нельзя жить!» Улицы казались мрачными и нежилыми. Вспомнил о письме. Так ничего и не придумал и не решил.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Фильм кончился. Публика потекла к выходам. Инга, еще взволнованная ужасами фильма, прижималась к руке Федора. У дверей он мягко отстранил ее — предосторожности ради.

Курфюрстендамм горел огнями и казался не таким разрушенным, как днем. Федор, в пальто и шляпе, задержался у дверей, прикуривая. Инга прошла правее. Карл с машиной ждал за углом. Когда Федор вышел из толпы, перед ним выросла фигура незнакомого человека. Федор удивленно остановился.

— Ваши документы, — по-русски спросил незнакомец.

Федор внутренне сжался. У человека были темные глаза и курносый нос, шляпа сидела неумело. «Наш!» — сразу определил Федор.

— Вас волен зи?

— Ваши документы, — повторил тот.

— Их ферштее нихт — вас волен зи фон мир?

— Бросьте валять дурака, — немцы не курят папирос «Казбек», — усмехнулся незнакомец.

Федор растерянно посмотрел на руку с папиросой. «Влип! Как идиот!» — и, стараясь быть спокойным и уверенным, сказал:

— Пойдемте к машине.

Агент, наверно, сержант, подумал, что имеет дело с властью имущим.

«Только бы Инга не успела сесть в машину», — забилося в мыслях. Автомобиль стоял в тени, но Федор заметил фигуру Инги за деревом. Она, повидимому, все видела. Один страх сменился другим — не бросилась бы к незнакомому просить, чтоб не обижал ее возлюбленного, чтоб не отнимал его у нее.

Карл, увидев хозяина без Инги, с чужим, сразу догадался. Он включил газ и, когда Федор со словами: «Документы у меня в портфеле — одну минутку» полез на заднее сиденье, включил скорость. Машина прыгнула козлом, на секунду забуксовала по снегу и рванулась вперед. Потом свернули, еще раз, и еще раз, и только на Шарлотенбургершоссе Федор перевел дух.

— Ну, Карл, спасибо, дружище!

Подъезжая к Бранденбургским воротам, Карл успел разглядеть, что за воротами КП проверял автомобили. Машина была с немецким номером — Карл брал ее у знакомого немца, но могли проверить личные документы. Повернуть назад было уже поздно — движение в обратную сторону шло по левому шоссе, отгороженному широкой полосой мусора и камней — надо было ехать до самых ворот.

Воспользовавшись скоплением остановившихся для проверки автомобилей, Карл затормозил в тени у самой колоннады. Федор незаметно вылез и отошел в сторону.

Через полчаса он был дома.

Прибежала в слезах Инга:

— Это я, я виновата! Ты из-за меня едешь в кино и театры! Я больше никуда не поеду!

Федор успокоил ее и отправил к себе. Его тревожило долгое отсутствие Карла. «Наверно, «тот» успел записать номер машины, и Карла задержали».

Готовясь к худшему, Федор стал перебирать бумаги и письма.

Собрав все, что ему казалось неуместным при возможном обыске, сложил вместе с деньгами и пистолетом, на который не имел разрешения, в чемодан и отнес Инге.

— Если что случится, запомни, Инга: никуда не обращай за помощью. Карла не ищи — он вернется. Это береги. Бумаги и пистолет спрячь. Деньги трать, как найдешь нужным.

Девушка с ужасом смотрела на него. Слезы одна за другой катились по щекам. Федор почему-то вспомнил сегодняшней киножурнал: там так же катились с горки дети на салазках.

— Если... если с тобой что случится — я не хочу жить.

— Я сказал «если», это не значит, что обязательно случится, дорогая моя плакса. Возможно, они узнают, что это был я, за мной станут следить и нам некоторое время нельзя будет встречаться. А теперь — спокойной ночи, я должен быть у себя.

Предчувствие Федора — обычное у советских людей — не обмануло его: он уже спал, когда позвонили. Федор вышел в пижаме:

— Кто там?

— Откройте, товарищ майор, — Федор узнал голос дежурного офицера, лейтенанта Киселева.

В прихожую за Киселевым вошли двое — капитан и сержант из оперотдела района.

Капитан объявил, что должен сделать обыск и показал ордер. Прошли в столовую. Сержант тут же стал рыться в ящиках. Киселев чувствовал себя явно неловко. Капитан сел за стол и стал снимать допрос:

— Где вы были сегодня в 10 часов вечера?



— Дома.

— Как фамилия вашего шофера?

— Карл Мюллер.

— Где находится ваша автомашина?

— В гараже.

Когда обыск и допрос окончились, на столе лежали документы Федора, пистолет и письма. Капитан встал и, глядя Федору в глаза, значительно произнес:

— Вам придется ехать с нами.

— Как вас понимать — я арестован?

— Нет, но я имею распоряжение.

Повезли не в оперотдел, как думал Федор, а в Центральную Комендатуру на Луизенштрассе.

В маленькой грязной комнате без окон стояла койка с солдатским одеялом, стол и табурет. Дверь заперли. «Хорошее — не арестован!» Федор, не раздеваясь, лег на койку и укрылся шинелью.

«Инга стояла у окна, когда уводили... Карл сознался... Если вышлют в Союз, что будет с Ингой?...» Повернулся на другой бок. «Где же Карл?... Нет, он не сознается... Надо не признаваться. Дернул же меня чорт поехать на эту идиотскую картину — будто чувствовал... Нет, признаваться нельзя...»

Утром принесли завтрак — яичницу и кофе. По завтраку было непохоже, что арестован. Попросил газету — принесли. «Все одно и то же, как десять лет назад — как им не надоест!» — отложил газету и снова лег.

Без пяти десять за ним пришел сержант-писарь.

К комнате, куда его тот провел, не было никого — хороший письменный стол, ковер, стулья, диван и портрет Сталина на стене.

Минут через пять дверь отворилась, и Федор увидел входящего полковника Колчина.

Уполномоченный МГБ при Центральной Комендатуре Берлина был смугл, красив, длинные волосы делали его непохожим на военного.

Федор встал и поздоровался. Колчин кивнул головой и сел за стол. Федор продолжал стоять. Тишину нарушало шуршание бумаг.

Колчин неожиданно засмеялся, легко и безобидно.

— Вы извините, майор, наши хлопцы, как всегда, перестарались. Садитесь, пожалуйста. Вы, поди, решили, что арестованы?

— Решил, товарищ полковник.

— Чепуха ужасная получилась. Здесь какой-то агент сообщает, что вчера вечером видел вас в кино «Марморхауз» и что при требовании документов вы уехали от него на немецком автомобиле. Хорош агент! Идиот, поднял шум! Придется вздуть, как следует. Короче, товарищ майор, я, как вы понимаете, не придаю значения этому вздору — я и сам, бывает, в немецкое кино езжу — в другие сектора не рискую по положению, а в нашем езжу. Советским людям надо поглядеть, чем дышет заграница. Что же это был за фильм?

«Ловит или правда считает чепухой?» — но привычка не верить людям НКВД поборола:

— Я не был и не бываю в других секторах, товарищ полковник. Здесь какое-то недоразумение.

— Ну, как хотите: не были, так не были. Вся неловкость в том, что донесение агента имеется и мне нужно что-то на нем написать, — снова добродушно рассмеялся Колчин. Он хотел уже писать, как вдруг досадливо поморщился и отложил ручку.

— Да, но здесь написано, по вашим словам, что вечером вы были дома, а дома вас не было — к вам

ходил дежурный комендатуры — так записано в рапорте.

— Я спал, товарищ полковник, возможно, он не дозвонился, — «Ох, врет!»

— Это хуже, майор, — формально, по донесению, вас дома не было. А где был ваш шофер?

— Не знаю, товарищ полковник. Я его отпустил часов в шесть вечера.

— Та-а-ак, — глаза Колчина смотрели на Федора уже недружелюбно. — Посмотрим, — он нажал кнопку, и сразу же вошел вчерашний незнакомец с Курфюрстердамма.

Колчин не сводил с Федора глаз, но Федор смотрел на вошедшего так, словно видел того впервые.

— Что вы скажете?

— Тот самый, товарищ полковник! — вытянулся агент.

— Что скажете вы, майор?

— Скажу, что ничего не понимаю, товарищ полковник. Кто этот человек?

Колчин сделал знак агенту выйти.

— Вы что, майор, ставите меня в дурацкое положение? Я же вам русским языком говорю, что смотрю на дело, как на вздор. Агент — официальное лицо — говорит, что видел вас, а вы говорите, что там не были. Вы понимаете, что вы делаете?

— Товарищ полковник, не могу же я взять и наговорить на себя того, чего я не делал! Ваш агент, повидимому, с кем-то меня спутал.

— Нет, я вижу, вы не боевой майор, а баба! Вы сами вынуждаете меня передать дело следователю, а это для вас означает арест. Понятно?

— Как вам угодно, — делая вид, что тоже рассердился, ответил Федор.

— Но пеняйте на себя: если вы там были и отрицаете это, то у вас есть особые причины скрывать посещение английского сектора. Вы понимаете, что значит подобное подозрение?

— Я ничего не могу прибавить к тому, что сказал, товарищ полковник.

— Теперь не «товарищ», а «гражданин», — зло заметил Колчин и опять позвонил.

— Уведите арестованного, — не глядя на Федора, приказал вошедшему солдату.

Через полчаса Федор сидел в уже настоящей тюремной камере. Решетчатое окно снаружи было снизу на три четверти закрыто козырьком. Погоны, орденскую планку, пояс, подтяжки у него забрали.

«Нет, скажи я, что был кино, то началось бы: — а что вы там делали? А почему немецкая машина? А гражданское платье? И подвел бы под трибунал. А так, если Карл не сознался, ничего они не сделают... А если сознается?... Тогда, в лучшем случае, демобилизация и высылка в Союз с «волчьим билетом»... А приказ Соколовского?»

Потом пришли мысли об Инге, безысходные, гнетущие. Сознание цеплялось за Баранова, за дивизию — они были здесь в Германии. А боевое прошлое? А ордена? — становилось светлее. Но вспомнились Делягин, Соня, приказ Соколовского, и снова темнело.

И снова думал об Инге. «Что она, бедняжка, делает сейчас? Только бы в отчаянии не выдала...».

Так, шагая из угла в угол, провел он весь день. В девять часов вечера кто-то за дверью глухо сказал: «спать». Долго ворочался. Мешал яркий свет лампочки. Уснул только под утро.

На следующий день проснулся с мыслью: «А пле-



вать — будь, что будет! — Ну, был в кино, ну, вышлют домой! Наплевать!»

Но вызвали его только на четвертый день. Ночью. Следователь, старший лейтенант МГБ, черный, нервный, все посмеивался:

— Шофер-то сознался...

— По следам сестрички пошли...

— Бежать задумали...

— С кем из англичан встречались?...

— Кто завербовал?...

— Так значит «русский народ сам себе создает эти трудности?»...

В камеру Федора отвели под утро. Голова гудела, в ушах стоял крик следователя, и было, — как заноза, — случилось страшное и невероятное: его обвиняли в подготовке к побегу на Запад и шпионаже в пользу Англии.

Уже не высылка в СССР, не демобилизация, а лагерь, а то и похуже.

«Могли же они осудить Соню. За эти четыре дня все собрали — и про Делягина, и про Соню, даже у замминистра — «гостя» Баранова...

Баранов и Моргалин, конечно, отказались. Генерал не отказался бы, Вася не отказался бы, но их не спросят...»

Федор несколько раз подходил к окошку и разглядывал решетку — сломать, бежать, спрятаться... И хотя понимал безнадежность этого, воображению отдавался охотно.

«Инга, Инга, зачем мы пошли с тобой в «Марморхауз!»

Чувство беспомощности сгибало его и он падал на табурет.

«За что? Зачем это им? Колчин еще орден зара-

ботать хочет? Или приговор послужит иллюстрацией к приказу Соколовского — всех напугают, никто уже не рискнет нарушать приказ! Вот выгода от нелепости обвинений, а может быть, моей гибели!

Власть государства станет беспощаднее и крепче в сознании всех, кто останется, кто знает меня, кто услышит или прочтет очередной приказ о приговоре... Мамочка, что они делают!»

Федор повалился на койку, но сразу же в дверь застучал надзиратель:

— Днем спать нельзя.

Федор встал и шатаясь опять принялся ходить. И вдруг, в первый раз вспомнил Катю и ее письмо. «Может быть, это наказание за Катю? За ее муку?... А Инга?»

Но Инга за эту ночь словно отошла в прошлое. «Об Инге, слава Богу, кажется, не знают... Что она будет теперь делать?»

Где-то внутри уже было ясно — Ингу отнимут, и то, что он как-то согласился с этим, обернулось мыслью: «да люблю ли я ее?» Ему продолжало казаться, что любит.

Он на самом деле, по-своему, любил ее. Он вырастил в себе, для себя эту любовь, вложив в образ Инги свое желание любить, свою потребность кого-то оберегать, о ком-то заботиться и быть кому-то нужным. Если это не случилось в отношении Кати, то только потому, что та пришла, как жена другого, независимая и сильная. Возможно, что приди ее письмо раньше, до того, как Инга была создана и стала заботой и помыслом его сердца, он полюбил бы Катю. Он неясно чувствовал, что полюби он Катю, все было бы иначе. Когда он получил письмо, отказаться от Инги было уже предательством, к ней, к себе, признанием несостоятель-

ности своего чувства. Это и не позволило ему понять, что хотел и не понял в ту ночь, когда Катя отдала ему письмо. Любить же Ингу предательством не было: отношение нелюбви к Кате было с самого начала, в нем была мука, оскорбленность, страдания Кати, но его предательства не было, и Инга была оправданием.

И вот теперь, когда потеря Инги стала неизбежностью, это оправдание себя в отношении Кати стало вдруг легкомысленным и неубедительным.

На что он надеялся? И Инга несчастна, и Катя, и он сам! И виной один он. «Нет, не я! А ты — чудовище, пожирающее людей, ты, называемое правительством моей родины! Разве не ты сделало Катю несчастной женой! Разве не ты делаешь несчастным меня и это одинокое существо, Ингу! Каждая мысль, каждое человеческое чувство упирается в стену твоих запретов, твоей власти!» — вдруг подумал Федор и ухватился за решетку окна.

— У окна стоять нельзя, — тотчас же раздался голос за дверью.

К обеду — водянистому супу и каше — Федор не притронулся. Обессиленный он сидел на табурете, когда за дверью раздался шум. Щелкнул замок, и в камеру вошел Колчин в сопровождении какого-то майора.

Федор встал. Колчин улыбался дружелюбно и, как показалось Федору, растерянно.

— Ну, счастлив ваш Бог, товарищ майор.

«Товарищ, а не гражданин! Что-то случилось!»

— Не знаю, кто за вас молился, но я получил приказ освободить вас. Сейчас вам вернут ваши вещи и документы. В вашем распоряжении ванна, парикмахер, столовая. Приведите себя в порядок, поспите часа два — не здесь, конечно, — Колчин брезгливо по-

смотрел на камерную койку, — и поедете к заместителю Министра Внутренних Дел генерал-полковнику Серову. Вам назначен прием товарищем заместителем Министра на пять тридцать.

Федор стоял, ничего не понимая. Только сердце его торопливо стучало: «свобода», «свобода», «свобода», «свобода».

— А нас извините — такая уж служба. Да и вы сами виноваты — ведь вы были в «Марморхаузе» — теперь это все равно. Вот майор вам поможет. Перед отъездом мы еще увидимся.



## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Серов был немного ниже Федора и строен, несмотря на свои пятьдесят лет, лицо было интеллигентное, виски — седые, руки — холеные. Он сидел в кресле небрежно, закинув ногу — в хорошем сапоге — за ногу. Заместитель Министра Внутренних дел, один из руководителей СМЕРШ'а, генерал-полковник — это заставляло напряженно следить за ним и верить, что все кончится благополучно — такому незачем гнаться за лишним орденом — он не носил даже орденских планок. Говорил он ровно и чуть-чуть устало.

Глаза были тоже усталые и мягкие, что никак не вязалось со СМЕРШ-ем и МВД.

— Вам помог случай, счастливый случай. Вы знаете, что вас ждало — лагерь, а то и смерть в заключении. Нелепость? Нет, логика. Вы нарушили приказ. Разве не прав командир, расстреливающий солдата за самовольную отлучку во время боя — к больной ли жене, к умирающей ли матери — все-равно! Вы сами отдали бы своего солдата под трибунал, если бы он нарушил ваш приказ командира. Почему же вы считаете нелепостью заключение в лагерь вас, нарушившего приказ? Почему?

— Но ведь это, товарищ генерал-полковник, логика военного времени, ведь боя-то нет.

— Нет, бой идет! Неумолимый, непрекращающийся, бой нового мира с обреченным. И он не прекра-

тится, он не может прекратиться, если мы хотим победить. И нет нам отдыха, и не будет! — на выбритых щеках Серова обозначились складки — от носа к углам рта.

— В другое время — в прошлом или будущем — вы, возможно, были бы прекрасным членом общества, а теперь — вы «слишком много думаете о себе», как писал ваш любимый Блок. Вспомните Вертера, Чайльда Гарольда, Рудина, Печорина — они были интересными, яркими, но они были «лишними людьми» своего времени.

Федор вспомнил себя перед зеркалом у Марченко — «лишний человек XX-го века».

— Время требует от нас жизни солдата и военной дисциплины. Если до войны мы были вынуждены жить в осажденной крепости, то теперь должны жить в армии за пределами крепости, — Серов остановился, словно приглашая Федора.

— Я воевал, товарищ генерал-полковник, и, кажется, не хуже других. Разве я не исполнил своего долга перед родиной?

— Вы воевали хорошо, но вы мальчик. Неужели вы думаете, что у коммунистов родина и защита родины — цель? Мы с вами русские, нам выпало счастье стать первыми гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Наш долг служить Союзу, служить каждой его республике, в том числе и каждой будущей, понимаете — будущей!

Зазвонил телефон. Серов перегнулся через ручку кресла и взял трубку.

— Да... хорошо... Фамилии арестованных мне не нужны, но сводки числа арестованных по провинциям пришлите обязательно.

Федор вдруг вспомнил, что этот человек, сидящий

перед ним, в 1943 году руководил страшным по жестокости выселением населения республик на Северном Кавказе — ингушей, чеченцев, балкарцев, карачаевцев и других, он и крымских татар ликвидировал, и калмыков, а в октябре 41-го усмирлял рабочих на заводах Подмосковья. Об этом рассказывал как-то Баранов, а тому, наверное, Колчин.

Федору стало душно, захотелось растегнуть воротник. Серов снова говорил с ним:

— Вы, конечно, удивлены моей помощью. Дело в том, что Екатерина Павловна моя племянница. Она мне все рассказала.

Федор вспомнил, что Катя как-то говорила, что знает Серова, но что племянница — он не знал.

— Да и случай ваш характерен в общих послевоенных настроениях. Кроме того, я тоже человек и «ничто человеческое мне не чуждо», — он посмотрел на ногти, — вспоминать это случается редко. Поймите, молодой человек, имея дело с миллионными массами, мы не можем делать исключений. У нас нет ни времени, ни возможности разбираться в отдельных случаях, — приказ, если отступать от правила, не будет действен и приведет к развалу армии. Быть бы вам в лагере, где мы заставляем людей работать на общее дело, людей, «слишком много думающих о себе», но ряд обстоятельств позволил мне обратить внимание на ваш случай, и пусть это будет вам уроком.

Федор сидел обессиленный. Благодарить Серова было почему-то неловко — Федор понимал, что все плохое обошлось — Катя его спасла. Думать об этом он сейчас не мог. Серов продолжал:

— Я не собираюсь вам читать лекцию исторического материализма и классовой борьбы, но я хочу сказать, что за этими сухими категориями скрывается



жизнь. Капитализм приспособляется, ловчит. Капитализма, в классическом понимании этого слова, уже и нет, но сущность его остается, и история никогда не простила бы нам беспечности.

Возьмите факт неуклонного роста населения — после этой, самой жестокой в истории войны, население все-таки возросло. Скоро — в историческом понятии — людей на земле будет больше, чем возможностей, если останется капитализм, их прокормить. Это означает голод масс и их недовольство порядком вещей и обладателями жизненных благ. Революционность масс прямо пропорциональна росту населения. Простая логика показывает неизбежность падения капиталистического порядка. Но капитализм может разрешить противоречия, как собирался Гитлер, — уничтожением «унтерменшей», и так во всем.

«Неужели он, на самом деле верит этому? А техника Запада? А гуманизм Запада? Но разве его об этом спросишь», — подумал про себя Федор.

— Поэтому мы не имеем права успокаиваться, пусть демократы отдыхают, а мы будем продолжать наше дело, наш долг перед историей и всем будущим человечеством.

«Да нужно ли это будущему человечеству? Имеют ли право будущие, не родившиеся еще люди на страдания и гибель живых людей!»

— Загонять их в кризисы, отрывать куски их территории, готовиться день и ночь к решительной схватке с ними. Они могут догадаться и кинуться на нас — сил у них много, одна атомная бомба чего стоит. Поэтому надо их разъединить, подтачивать их силы изнутри, атомную бомбу сделать или выкрасть, а то просто купить у них — они всем торгуют, а, главное, мы обязаны всегда быть в состоянии мобилизации, в



состоянии сжатого кулака. Наша слабость в том, что у них существование свободнее и богаче для человека, и в этом соблазн для нашего уставшего человека — солдата. Поэтому мы не можем общаться с ними, не можем разрешить своим людям жить так, как им хочется, — не можем вам разрешать ходить в их кино, любить их девушек...

«Неужели он знает про Ингу?» — похолодел Федор.

— Как бы вы поступили с недисциплинированным солдатом? — вдруг спросил Серов. Федор растерялся.

— У меня... у меня не было недисциплинированных, — и смутился.

Серов быстро поглядел на него, но, заметив смущение Федора, продолжал:

— У вас не было, так были у других командиров. Таких солдат расстреливали или отправляли в штрафные батальоны. Вы нарушили приказ, но, учитывая ваши заслуги и обстоятельства, мы ограничиваемся жизненным штрафбатальоном — вас демобилизуют. Там, в Советском Союзе, моя власть кончается. За вами везде будет следовать ваше личное дело, где записан и ваш арест, и арест вашей сестры, и все остальное. Малейшее отклонение от службы, от тяжелого, но благородного долга советского человека-солдата, уже штрафника, будет означать для вас гибель.

И мой вам настойчивый совет — никогда, вы слышите, никогда не нарушайте приказа — «кто не с нами, тот наш враг!», а врагов мы уничтожаем беспощадно, даже тех, кто имеет смелость ослушиваться нас, кто имеет хотя бы каплю непокорной нам крови! — лицо Серова изменилось, углы рта опустились, туловище наклонилось вперед, к Федору, побелевшие пальцы сжимали ручки кресла. Опомнясь,

он откинулся на спинку, и лицо приняло прежнее выражение.

— Я вам убедительно советую ехать в провинцию, скажем, в... Архангельск, жениться, иметь детей, работать так, как вы воевали. Если вас снова не наградят «Героем Советского Союза», а это с нарушившим однажды приказ почти наверное случается, не ропщите, — Серов засмеялся глазами и посмотрел на ногти.

«Они все знают!» — с ужасом подумал Федор.

— Вы человек интеллигентный и думающий и, конечно, будете всегда как-то объяснять новые приказы и события — объясняйте их всегда одним: так нужно партии! И только так вы не ошибетесь. Критикуйте только то, что появляется и существует вопреки воле партии. Резюмируя мои искренние пожелания: подалее от центра — в провинцию, где вас лично будет знать местное начальство, женитесь и не мудрствуйте лукаво.

Серов встал. Встал и Федор. Все было ясно: ехать в Архангельск, жениться на Кате и «не нарушать приказов».

Серов протянул тонкую руку. Федор молча пожал ее и уже потом сообразил, что надо поблагодарить.

— Я никогда не забуду всего, что вы мне сказали и что сделали для меня, товарищ генерал-полковник.

— Не забывайте — это вам поможет, а благодарить меня не за что, поблагодарите лучше Екатерину Павловну. Желаю удачи.

Федор опомнился только у выхода из инженерного городка — постовой спросил пропуск. Горели фонари. Федор медленно пошел вдоль забора. Его догнал автомобиль и остановился у тротуара рядом с ним. Дверца распахнулась, и он узнал Катю. На всю жизнь запомнился ему свет фонаря, ее протянутые к

нему руки, бледное, счастливое лицо и странное, новое выражение глаз — робкое и застенчивое. И подошла она как-то неуверенно, и руку подала молча, словно робеющая девочка.

Он поцеловал руку, потом другую и, не выпуская ее, не в силах что-нибудь сказать, пошел рядом. Так, не сказав друг другу ни слова, дошли они до проходной. Было предельно ясно: отныне все в нем принадлежало ей.

Они поехали ужинать в «Москву». В зале для старшего комсостава было пусто — только за одним столиком сидел незнакомый полковник. Официант, принимая от Кати заказ, заметил: «Для вашего мужа разрешите посоветовать бифштекс». Катя ужасно покраснела, так что Федор поторопился сказать:

— Пусть будет бифштекс.

Она сделала вид, что смотрит карточку вин, но было видно, как лихорадочно блестели из-под ресниц ее глаза.

Федор стал рассказывать — о «Марморхаузе», о Колчине, о Серове. Об Инге решил не говорить. Ему очень хотелось и о ней рассказать, но ему казалось, что он не имел права делать Кате больно и еще в такой день. Она и так выглядела больной. Инга продолжала жить в нем, но это не мешало ему в его решении о Кате, только было в этом решении что-то, как и в ту ночь у Марченко, — невозможность обидеть ее, и это смущало его.

Рассказывая о Серове, Федор неожиданно вспомнил свое состояние год тому назад, когда лежал в госпитале и думал об угрожавшей ему ампутации ноги, — все в нем тогда протестовало, но он знал, что если бы пришлось ампутировать, то, несмотря на этот протест, он согласился бы и дал себя резать.



Тогда это было в воображении раненого, а сейчас наяву — он дал согласие на ампутацию. Чего — он еще не знал.

— Будто дал согласие на ампутацию, а чего — не знаю, — сказал он вслух. Катя испуганно посмотрела на него.

— Нет-нет, пойми меня правильно, пойми меня; он сказал, что малейшее отклонение от «тяжелого, но благородного долга советского человека», от «приказов партии» будет означать для меня гибель! И сам назвал это «жизненным штрафбатальоном». Безропотно жить, похоронить себя в глуши провинции, собственно, без надежды, ибо я ныне «штрафник», и еще назвал это «счастливым случаем» для меня! И это еще не главное: страшно то, что они меня, тебя, весь народ используют и дальше будут использовать, как средство для своего «боя». И я... согласился. Понимаешь? Согласился на ампутацию.

Катя оглянулась на полковника за столом.

— Фанатик. «Нам некогда разбираться в отдельных случаях», «мы не можем разрешить нашим людям жить, как им хочется». Ты понимаешь? Люди, видишь ли, «слишком много думают о себе!» По-ихнему нужно отказаться от себя, всем быть такими же фанатиками, а если нет, то иди в лагерь — будь рабом! Ты понимаешь, Катя?

— Федя, успокойся, не надо так громко. Ты устал, тебе нужно отдохнуть.

Федор потер лоб.

— Хорошо, Катя. Да, да, я пойду домой и посплю. Завтра надо оформлять демобилизацию... в «штрафники» оформляться, — криво усмехнулся он.

Катя с нежностью поглядела на него и тихонько погладила по руке.



— А я не знал, что ты его племянница, — вспомнил он.

Катя испуганно поглядела на него.

— Пожалуйста, не надо, забудь это и никогда, пожалуйста, никогда не вспоминай этого и не говори, — твердо проговорила она.

У автомобиля они простились.

— Завтра я позвоню. Спокойной ночи, Катя, — Федор устало, словно просил его простить, улыбнулся ей. Автомобиль тронулся, Катя помахала сквозь стекло. Федор опять виновато улыбнулся.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Эту измученную, усталую улыбку его в свете уличного фонаря — последнее, что увидела она. Ей стало грустно от того, что оставила его одного и что надо ехать домой. Аркадий, конечно, уже вернулся. Теперь он ужинает один и не всегда, как раньше, после ужина уезжает на службу.

— Поезжайте, пожалуйста, медленнее, и не домой, а куда-нибудь — я хочу проехаться, — сказала она молчаливому шоферу — старому берлинскому шоферу такси.

Она забилась в угол, съежилась и стала вспоминать весь их разговор в «Москве».

Вечерний Берлин — черные развалины, редкие фонари, серые пятна снега — плыл по сторонам, но Катя его не видела.

«Для него это ампутация... Ампутация свободы... Именно, свободы... Это значит — всю жизнь будет чувствовать себя калекой... Кончится тем, что возненавидит и себя и меня... Неинтересная работа, скука провинции и, конечно, станет пить... Кончится тем, что я превращусь для него в причину неудавшейся жизни... Вечное раздражение неудачника... Что бы я ни делала, а серость и бедность провинциальной жизни его доканает... И я, и любовь моя, и дети будут только раздражать...

Будет стараться сдерживаться, будет понимать, что

несправедлив, и от этого ему будет еще тяжелее... А неизбежные в нашей жизни «чистки», аресты, неизбежное для него теперь положение поднадзорного... Еще вдруг почему-либо Николая Васильевича переведут из Архангельска... Что тогда?

Будет жить воспоминаниями о боевом прошлом... Станет надеяться и ждать новой войны, чтобы забиться в ней, чтобы вырваться из «штрафного батальона»... Чтобы уехать от опостылевшей семьи... Да его теперь и в армию могут не взять — куда-нибудь в тыловое ополчение... Боже мой, Боже... как я люблю его! Федя, Федюшка, я так люблю тебя, так люблю! И понимаю и не осуждаю... Что же нам делать, Федя? Я, ведь, на край земли готова идти с тобой... только бы быть с тобой...»

Мысль Кати, после внутренне произнесенных слов «на край земли», побежала по воображаемой географической карте Советского Союза, дошла до границы и вдруг увидела, что это еще не «край земли» — за линией границы шли очертания других земель и материков. Так уж устроен человеческий мозг — мысль на мгновение остановилась, по советской привычке думать о земле в пределах красной краски, потом перепрыгнула и побежала.

Катя даже вздрогнула, но все ее сомнения, вся ее любовь, заполнявшая сейчас ее, увидели вдруг выход и бросились в догадку — бежать!

Бежать с Федором, бежать вместе в мир, где нет солдатчины, где не нужно ампутации, где можно взять его за руку и идти, идти, куда глаза глядят!

Где можно любить, спать с ним, бродить по берегу южного моря, слушать чужие песни, петь свои, где можно работать, никому не отдавая в этом отчета. Где

можно «думать о себе», без риска быть загнанным в лагерь.

Мысль о побеге с Федором, побеге для него, для своей любви к нему, прожгла и ослепила ее, так что она стала задыхаться. Но тут же властно встало: «А мама?» И свет померк. Мама останется одна. Маму могут выслать, могут посадить в лагерь за то, что дочь бежала, за то, что дочь полюбила. «Может быть, дядя поможет? Вряд ли». О муже она не подумала, может быть, потому, что за побег изменившей жены его не могли наказать, да и очень уж крепкое место занимает он на службе и в партии. Но мама! И сердце уже просило маму простить, и знало сердце, что мама простит за то, что дочь полюбила.

«Есть ли то, чего я не отдам тебе, Федя? — Нет, нет, нет,» — стучало внутри.

— Пожалуйста, назад! — крикнула она шоферу так, что тот испуганно обернулся. Забывая немецкие слова, она сказала, чтобы ехать на квартиру к Федору.

. . . ? . . . . .

Подходя к дому, первое, что Федор увидел, — темные окна Ингиной комнаты. Мысли об Инге, которые он до сих пор гнал от себя, поднялись в нем и он почувствовал страх. Невольно ускорив шаги, быстро вошел в парадное и, шагая через три ступеньки, взбежал по лестнице — дома должна была быть записка. Он так торопился, что несколько раз не попадал ключом в замок.

Квартира была убрана и натоплена, как в то утро, когда он вернулся от Марченко. Он включил все лампы, дважды обежал комнаты, но записки нигде не было. Забыв снять шинель, присел у стола, и в то же мгновение услышал, как кто-то поспешно стал отпирать входную дверь. Не успел он подумать, что это



она, как дверь в столовую распахнулась и Инга, бледная, с дрожащим ртом, вбежала в комнату. Молча кинулась она к Федору, судорожно обхватила его шею и вся — телом, горячей щекой, полными слез ресницами — прижалась к нему. Она хотела что-то сказать, но только застонала и разрыдалась. Федор крепко сжал ее плечи, словно хотел удержать рыдания.

— Не надо, девочка моя, не надо... не надо так...

Инга подняла заплаканное лицо и глазами, еще полными слез, в рамочках слипшихся ресниц, стала оглядывать его лицо, словно хотела что-то проверить. И столько горя, столько тревоги и любви было в них, что Федор почувствовал невозможность сказать ей о случившемся.

Она была дома, когда над головой раздались его шаги. Все эти дни она никуда не выходила, боясь пропустить его или известия о нем.

Когда его увезли, на следующий день приходил какой-то русский, он перерыл всю квартиру и допрашивал ее. Она сказала, что ее мать убирала квартиру господина майора, а после ее смерти убирает она — часа два в день, когда господин майор на службе. И еще она сказала, что у нее есть жених, который работает, и что она скоро уедет к нему. Русский гадко шутил с нею и обещал заходить в гости, но, слава Богу, больше не приходил.

Она каждый день убирала квартиру, убирала и плакала. Несколько раз приходила невеста Карла — Карла арестовали в тот же вечер у Бранденбургских ворот. Никто не знал, что с ним случилось, но сегодня он вернулся ужасно избитый. Он ни в чем не сознался, говорил, что возвращался из деревни от бабушки, которой не застал дома (он знал, что в тот день бабушки не было дома). Он лежит в постели, доктор ска-

зал, что осложнений нет. Просит немедленно дать ему знать, если что станет известно о Федоре.

— Но ты снова дома, — Инга не удержалась и заплакала опять, — не буду, не буду... Только скажи, что уже никто тебя у меня не отнимет... Если бы ты знал, как я мучилась, что только не передумала...

«Как мне сказать ей о предстоящей демобилизации и обо всем, что случилось?» — он смотрел на ее лицо, на глаза, на худенькие плечи, давно ставшие родными, — и ему надо было отказываться от них! Образ Кати прошел в сознании, но Инга перебила:

— Ведь тебя не увезут из Германии? Что они делали с тобой — ты так похудел? Ах, это я во всем виновата! — в отчаянии сказала она и опять заплакала.

— Не плачь, Инга... Они меня только спрашивали о Карле... И отпустили. Что будет — не знаю. Может... может, мне придется уехать, — тихо, не глядя на нее, вдруг сказал, неожиданно для себя самого Федор и испугался.

Он боялся слез, но Инга сразу перестала плакать, и он скорей угадал, чем увидел, как она побледнела. Она вся обмякла, сгорбилась.

— А как же... а как же я? — едва слышно проговорила она.

Это чуть слышное «а как же я?» переполнило его такой жалостью, что он схватил ее похолодевшие руки, притянул к себе и принялся торопливо гладить по голове, как ребенка.

«Что же делать? Боже мой, что же делать? И всему виной — я!... Только бы она выбралась из разлуки, только бы встретила хорошего человека!...

«Но будет ли она счастлива?» И когда представил, что Инга, его Инга будет счастлива с кем-то чужим, что этот чужой будет ее обнимать, целовать эти руки,

рот, глаза, — его так и ударило. Он прижал ее к себе еще крепче, словно кто-то уже отнимал ее у него.

«Кому это нужно — ее гибель здесь, моя там — ведь там меня ждет жизнь раба, как они ни называй ее — «тяжелый, но благородный долг советского человека»?! Кому нужен этот «долг» — мой, Сони, отца Василия, миллионов других, в том числе и этого фанатика?! Кто им дал право распоряжаться человеческими жизнями?!»

Инга, не отрывая щеки от груди Федора, заговорила быстро и решительно:

— Я напишу вашему Сталину, я буду просить его до тех пор, пока меня не пустят в Россию к тебе... Ты говорил, что если Германия станет советской, то ничто не помешает нам. Я стану коммунисткой и буду делать все, чтобы Германия скорее стала советской. Я и об этом напишу Сталину.

Как ни тяжело было Федору, он улыбнулся:

— Дорогой мой глупыш, ты не знаешь, что говоришь: если ты напишешь о нас, то меня арестуют. Даже добейся ты разрешения въезда в Советский Союз, то они однажды скажут, что ты приехала шпионить, и тебя и меня расстреляют, а детей наших посадят в лагерь.

Инга потерлась щекой о шинель Федора:

— Как же русские могут жить в такой, такой... такой страшной жизни? Зачем же тебе возвращаться туда?

Когда она сказала это, легкий холодок пробежал у него между лопаток.

В нем, как почти в каждом советском человеке, случайно попадающем за границу, мысль о невозвращении жила всегда, но инерция привычек, судьба близких людей, неизвестность жизни на чужбине, наконец



страх, связанный с этой мыслью, обычно, делали ее в самом начале пустым мечтанием.

Но теперь, после ареста, после невозможности, как ему сейчас показалось, терять Ингу, мысль эта поразила его соблазном освобождения. — «А Соня?» Соня была в лагере, помочь ей, когда сам стал «штрафником», он ничем не мог. «А Катя?» И это сразу совсем заслонило открывшуюся было дверь. После всего того, что произошло сегодня, после того расстояния в Карлсхорсте, которое они вместе прошли рука об руку, после счастья в Катиных глазах в «Москве», он уже не принадлежал себе, она одна имела на него право.

И словно в подтверждение всего этого, дверь комнаты медленно отворилась и на пороге появилась Катя.

Как громом пораженная, стояла она и смотрела на Ингу. Инга не захлопнула входную дверь и Катя вошла без звонка. Испуганная неожиданным появлением женщины в беличьей шубе, в которой не сразу узнала «фрау-оберст», Инга только крепче прижалась к Федору. Его рука замерла на волосах девушки, другая обнимала плечи.

Было видно, как отливала краска с лица Кати. При электрическом свете оно стало почти серым. Лево́й рукой она схватилась за косяк двери. Все это время она не сводила остановившихся глаз с лица Инги. Федор хотел подняться, но Инга вцепилась так, что он снова сел и стал отрывать ее от себя.

Катя на секунду взглянула на него, и страшен был взгляд ее необыкновенно почерневших глаз. Потом рывком повернулась, пошатнулась и кинулась в коридор.

Федор молча, грубо оттолкнул от себя Ингу и бросился за Катей. Двумя прыжками догнал он ее на



лестнице, забежал вперед на ступеньку ниже и стал ловить руки:

— Катя... не надо... я не решался тебе сказать... выслушай меня... ради...

Она жестом остановила его. Лицо ее было спокойно и как-то торжественно красиво; но, было видно, что вот-вот она потеряет сознание.

— Я опоздала, Федя... Я пришла сказать... сказать, что тебе нельзя возвращаться в Союз... тебе там нет места... Я... я хотела бежать... с тобой, но мое место оказалось занятым. Теперь я понимаю все... почему ты не мог полюбить меня...

Федор с ужасом смотрел на нее. Совпадение слов Инги, его мыслей и того, что говорила сейчас Катя, так его потрясло, что он даже не сделал попытки задержать ее и только стоял и смотрел, как она уходила и как скрылась за дверью.

Когда опомнился и с трудом, отяжелевшими вдруг ногами, опираясь на перила, стал подниматься, внизу раздался шум отъезжавшего автомобиля.

Инга сидела в том же кресле и только слезы медленно текли у нее по мокрым щекам. Федор прошел к обеденному столу и сел на стул. Тупая боль в висках мешала, и он бессмысленно смотрел на противоположную стену. Прошло несколько минут, как вдруг резко зазвонил входной звонок. Федора словно сорвало. Он бросился в коридор. На лестнице никого не было. Он заглянул вниз, в пролет лестницы, потом вверх — никого. Внизу на улице снова раздался тот же шум отъезжавшего автомобиля. И только тогда заметил у кнопки звонка торчавшее письмо.

«Желаю вам обоим счастья. Прощай.» — написано было торопливо рукой Кати. Засунув под кнопку письмо, она спустилась и позвонила с улицы.

Так, с письмом в руке, он вернулся в столовую. Инга уже не плакала и сразу заметила письмо. Федор снова сел за стол, положив письмо перед собой на скатерть. Инга ревниво следила с кресла.

— Она... желает... тебе и мне... счастья, — глядя в то же место стены, каким-то деревянным голосом проговорил он.

— Она... желает тебе и мне счастья. Ты понимаешь?.. Я не стою ее пальца... Мы оба не стоим ее пальца, — все так же глядя на стену, повторил он.

Инга, стараясь не шуметь, встала и подошла к нему.

— Ты ее любишь, Федя?

— Разве я могу любить ее, разве я могу так любить! Я не стою одного ее пальца, — ожесточаясь, громче и громче повторял он. — Она знает, что мне нельзя туда возвращаться, для меня знает! Она меня любит так, как никто никогда не любил и не будет любить! Мы оба не стоим ее пальца! — руки его сжались и потащили скатерть. Письмо упало на пол.

Инга обхватила его руками:

— Федя, не надо... Федя, не надо!

Он был на грани припадка, но события последних дней так измучили его, что он вдруг сразу как-то стих и дал уложить себя.

Долго лежал с закрытыми глазами, боясь, что заплачется.

Катя потеряна — это было в ее глазах, в жесте ее руки, там, на лестнице. Потеряно было все, оставались Инга и Соня, — Инга сидела у его ног, а Соня была «там». Когда он пытался думать, что ждет его «там», наплывало что-то черное, тяжелое и начинало нестерпимо болеть в висках.

. . . . .  
В эту ночь Федор решил бежать.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Из книг он взял только томик Блока — подарок Сони в день окончания института, — Федор не расставался с ним всю войну.

Перед тем, как положить в чемодан, он взял книжку и решил погадать, как делали они с Соней в детстве: что-нибудь загадывали, раскрывали наугад книгу, и первая попавшаяся фраза была ответом на загаданное.

Весь день — в комендатуре, в Комендантском Управлении, в Отделе Кадров, дома — мысль о границе не оставляла его. Могут убить, могут поймать — живьем он не дастся — лучше застрелиться! Могут поймать англичане или американцы и выдать, — какая нелепость — выдавать перебежчиков! И кому? — Большевикам, которые собираются им же свернуть шею! Пресловутое уважение к закону и соглашениям. Опять «политическая необходимость», — опять политика-убийца.

«Что из этого всего выйдет? — мысленно спросил он и раскрыл Блока:

«В стороне чужой и темной  
Как ты вспомнишь обо мне?  
О моей любви скромной  
Закручинишься ль в ~~тоске?~~»

Перескочил две строки и прочел дальше:

«Если будешь, мой любимый,  
Счастлив с девушкой ~~чужой...~~»

«Значит, все будет хорошо!» — И тут же подумал, что это о Кате. «Что она делает сейчас?» — ему очень хотелось написать ей, но он не знал, нужно ли писать, не причинит ли ей неприятности его письмо после побега.

Книжку положил сверху белья. Оставались письма: мамины, сонины и одно — катино.

Долго перебирал их, перечитывать боялся — инстинктивно избегал всего, что могло поколебать решение бежать. Брать с собой их он не имел права — могут убить, могут поймать. Первым — решительно, будто бросился в воду, — разорвал письмо Кати. Потом взял последнее письмо Сони, в нем лежала сонина карточка — она смотрела укоризненно, будто осуждала.

«Не могу!» — и поспешно сложив в кучку — сверху порванное надвое письмо Кати, — связал шнурком. Потом развязал и добавил тетрадь со стихами, решив все оставить у Карла с тем, чтобы «после» тот переслал ему.

Вошла Инга — в берете, в «солдатских» ботинках. Было в ней что-то новое, — будто старше стала и красивее.

— Я готова.

Инга должна была ехать в Нордхаузен поездом с гражданским платьем Федора и частью своих вещей. Там должна была нанять комнату, разузнать о возможностях перехода границы и ждать его. Федор с Карлом на автомобиле знакомого немца поедут завтра ночью: если задержат по дороге, Федор скажет, что едет в дивизию прощаться.

— Не беспокойся, милый, — я сделаю все, как мы договорились. Только не задерживайся — я буду ужасно волноваться. Как только приедете, пошли Кар-



ла на почту — я оставлю на его имя письмо с моим адресом.

Три раза позвонил звонок — условный знак Карла. Он сильно похудел, казалось, сделался меньше ростом.

— Все в порядке, господин майор! — и положил на стол бумажный пакетик.

— Два карата и чистый, — Карл выменял автомобиль Федора на бриллиант, на который Федор думал начать жизнь на Западе, деньги были ненадежны — все ждали денежной реформы.

— Спасибо, Карл. Это куда портативнее.

— Герр Шульц за тысячу марок дает мне на три-четыре дня свой «Адлер».

— Очень хорошо. Там лежат продукты на дорогу, а это все можешь взять себе, но только унеси так, чтобы никто не видел. Все. Действуй.

Карл хотел что-то спросить и замаялся.

— Ты что?

— Я не знаю, господин майор, но если можно, не дадите ли вы мне пистолет, который в гараже?

— Пистолет?! Зачем он тебе?

— Ах, господин майор, в Германии все еще может быть... На всякий случай...

— Гм, понимаю. Этот я беру с собой, а из гаража можешь взять, но только смотри...

— Филен данк, герр майор!

— Кушай на здоровье.

Снова зазвонил звонок — один раз — чужой. Федор выпрямился. Инга испуганно посмотрела на него и побежала с Карлом в кухню.

Федор всунул бриллиант в книгу на полке, огляделся и пошел открывать, стараясь угадать, кто это мог быть.

За дверью стоял сержант Волков.

— Пришел проститься, товарищ майор.

Сознание Федора так далеко отошло от «этой» стороны, что он не сразу понял.

— А, Валя! Входи. Спасибо, что не забыл. В комендатуре меня, как заразного, обходят.

— Эх, товарищ майор, все люди б...!

— Так уж и все? А ты, а я?

— Если не все, то почти все. Мы что — мы солдаты, мы понимаем, а вот комендант, замполит — такие суки! Я ведь дежурил, когда вас забрали. Приехал к нам какой-то капитан из оперотдела. Заперлись они у полковника, а я у дверей слушал. Полковник все говорил: «просмотрели», «просмотрели». А замполит: «Я всегда говорил, что Панин подозрителен — необщителен, стихи пишет». Да что там говорить, товарищ майор! У меня тоже самое: скурвилась моя — американца себе завела!

— Как американца?

— Да так. За все хорошее мое. Я теперь не могу часто к ней ездить — опасно, а у американца сигареты, консервы, шоколад, а главное — прятаться не надо. Сообразила, что там и замуж может выйти за него — так прямо мне и сказала. Хотел я ей надавать по морде, а потом подумал — аллах с ней! Обидно, но чем же она виновата за наши порядки! Типичное не то — эти немки! Наша деваха так не сделала бы.

— Что ж ты теперь? — спросил Федор, думая о словах сержанта.

— Буду в отпуск проситься. Поеду домой и женюсь на нашей.

Вскоре Валька заторопился — надо было на дежурство.

— Прощайте, товарищ майор. Пришел бы провожать, да не пустят... Может, когда и встретимся.

— Прощай, Валя, не поминай лихом... Может, и встретимся.

Грустно стало Федору после ухода Волкова. Инга и Карл ушли раньше. Он долго сидел у печки. Думал о Кате, о Соне. Решил написать обеим в Нордхаузене и просить Василия переслать или передать им — по почте могла перехватить цензура.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К границе Федор решил ехать окружным путем, через Лейпциг — по дорогам тех районов, где в комендатурах у него были знакомые офицеры.

Он боялся неизбежных проверок на контрольных пунктах — его документы демобилизованного могли вызвать подозрение.

Выехали затемно утром. На дворе было ветрено и сыро. Предосторожности ради Федор вышел из дому и пешком дошел до Александерплатц, где его поджидал Карл.

В пути начался дождь. Снег потемнел. Ехать по снежной грязи было трудно, автомобиль скользил и его, то и дело, заносило. Встречные машины попадались редко — больше немецкие грузовички, спешащие в Берлин.

Ненастье и безлюдье на шоссе Федора успокаивали — в такую непогоду и КП по дорогам меньше, посылают обычно солдат, которым не хочется мокнуть, так что проверять должны поверхностно, тем более — майора в орденах.

Проезжая временный деревянный мост через Эльбу в Виттемберге, Федор вспомнил, что в ближайшей комендатуре он никого не знает. Решил сделать крюк через Дален.

В Далене, не заезжая в комендатуру, проехали прямо на квартиру коменданта.



На звонок вышел капитан. Он сразу узнал Федора: — А, товарищ гвардии майор! Милости просим.

Федор заметил, что капитан был нетрезв и весь вид его — лицо, одежда были помяты и неряшливы.

В квартире коменданта жил уже капитан.

— Нет нашего майора... Пропал парень... — ответил капитан на молчаливый вопрос Федора.

— Кутнул на стороне и заразился сифилисом. Отправили в венерический госпиталь, куда-то на север, на остров... Жалко парня, по сути неплохой человек был, да надорвался... Не по силам положение коменданта... Комендатуру тоже скоро закрывают — на время меня назначили, — грустно рассказывал капитан.

За окном лил дождь, черные костлявые ветки дерева метались, будто тоже что-то горестно рассказывали.

— А как же Галина?

— Галину тоже заразил... Ей бы вылечиться, а тут как раз приказ пришел — всех репатриированных отправлять в Советский Союз. Так больная и поехала... Пропадет дивчина... — Ветка громко стукнула по стеклу, капитан посмотрел и тяжело вздохнул.

Федор вспомнил Галину и ее «хочь бы до дому поихати» и тоже посмотрел в окно. Рассказ капитана, его запущенный вид, зимний дождь за окном, черные ветки дерева — от всего этого Федора охватило щемящее чувство одиночества и безнадежности.

— Ну, а с вами что теперь будет? Переведут? — спросил он, вспоминая о хлопотах капитана.

— Эх, товарищ майор, да разве мы знаем! Сегодня опять написал заявление на демобилизацию. Кто ж его знает... Пойдемте лучше погреемся с дороги.

Федору представилась столовая, горящая печка, — хорошо бы сейчас сидеть, пить водку, смотреть в

огонь и знать, что не надо ехать к границе, не надо рисковать жизнью и, быть может, умирать.

Он поблагодарил капитана, пожелал ему скорой встречи с семьей и с тяжелым сердцем отправился дальше.

Когда подъезжали к Лейпцигу, небо очистилось и выглянуло солнце. В городе, несмотря на сильный ветер, улицы были полны прохожими.

Федор хотел приехать в Нордхаузен вечером, чтобы никто не заметил. Думая скоротать время, решил осмотреть памятник «Битвы народов» — кто знает, что будет завтра!

Он долго поднимался по узкой винтовой лестнице, пока вышел на площадку. Лейпциг сверху чем-то напомнил весенний русский город.

Наверху сырой ветер был сильнее, и Федор скоро продрог. Внутри памятника экскурсовод демонстрировал небольшой кучке посетителей-немцев эхо, но, увидев советского офицера, оставил тех, подошел к Федору и стал рассказывать ему историю памятника в надежде на щедрую плату.

Федор слушал рассеянно, а потом вспомнил и спросил про русскую церковь, построенную рядом с памятником — в память погибших русских воинов в «Битве народов». Экскурсовод вывел его на площадку перед входом и показал рукой вниз — на зеленую крышу церковки.

У подъезда церкви стоял чей-то серый «Хорьх» с советским номером. Федор хотел уже было отказаться от мысли осмотреть церковь, как из дверей вышел: чернобородый священник с ключами в руке, а за священником советский генерал.

Федор сразу узнал его и, забывая куда и зачем он едет, выскочил из автомобиля.

— Герой! Какими судьбами?

— Проездом, товарищ генерал-лейтенант, — ответил Федор и тут же, вспомнив все, смутился, главное от того, что надо было врать.

— Я тоже. Давно собирался посмотреть церковь. Утром был в Дрездене и решил воспользоваться случаем: пойдём взглянем на могилы наших храбрых предков.

Священник возился с замком на дверях склепа. Пришлось спускаться по узким каменным лестницам.

Генерал первым снял фуражку и молча читал надписи на старых потемневших плитах, под которыми были погребены офицеры русских полков, погибших в битве с армией Наполеона. Федор тоже снял фуражку, но больше смотрел на свежие венки от советских частей.

Священник-серб что-то тихо говорил на неправильном русском языке.

Было холодно и торжественно. Генерал, опустив брови, слушал объяснения священника. Федор смотрел на генерала. Ему хотелось в эту минуту рассказать тому обо всем, что случилось, но он не имел права ставить своего генерала в положение соучастника в побеге.

Когда вышли наружу, Федор спросил:

— Товарищ генерал, разрешите дать немного денег священнику на церковь?

— Конечно, — ответил генерал, но сам отошел, увидев приближающуюся группу офицеров. Федор вернулся к запиравшему склеп священнику. В руке его была крепко зажата зеленая бумажка.

— Батюшка, можно мне пожертвовать на церковь?

— Почему же нельзя, юноша, — многие офицеры жертвуют на Божий дом, — просто ответил священник.

Отдавать деньги было ужасно неловко. Священник, увидев банкнот в тысячу марок, внимательно посмотрел на Федора.

— Батюшка... помолитесь за раба Федора, — быстро проговорил Федор, не зная, почему и откуда пришла к нему эта фраза, и торопливо побежал с крыльца. Священник остался стоять с ключами в руке, зеленой бумажкой — в другой. Ветер рвал на нем рясу, забрасывал на лицо волосы. Приехавшие офицеры несколько раз окликали его.

Генерал сидел в автомобиле и поджидал Федора.

— Мне надо еще к генералу Кафтанову — он здесь комендантом. Поедешь со мной?

— Спасибо, товарищ генерал, но я должен торопиться. До свидания... Кланяйтесь Наталье Николаевне... — Его выдал голос. Генерал удивленно поглядел:

— Ты что, герой, сегодня странный какой-то?

— Нет, ничего, товарищ генерал... Я только хотел, чтобы вы и Наталия Николаевна никогда не сердились на меня...

— Да с чего это ты взял? Нет, в церковь тебе ходить нельзя. До свидания, герой. Приезжай — мы оба тебя любим.

Федор долго смотрел вслед генеральскому «Хорьху».



## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Дом стоял на окраине, полуразрушенный, окруженный развалинами. Старуха-хозяйка охотно сдала Инге одну комнату.

В окне виднелись руины, а за руинами темнела зубчатая стена леса.

Солнце еще не село. Фигура Федора двигалась в закатном свете, вихря за собой рой светящихся пылинок.

— Как же другие переходят? — повторил он, ни к кому отдельно не обращаясь.

— Переходят, господин майор, но риск... — ответил Карл, сидевший у печки.

— Фрау Шмидт говорит, что дней через пять с той стороны вернется ее знакомый — он переводит с гарантией, — прибавила Инга. Она сидела на кровати против окна — вся в багрянце и, не мигая, смотрела на солнце.

Федор остановился и поглядел на нее.

По освещенной стене, прямо над головой девушки, стояла тень оконной рамы, похожая на тень большого креста.

— Мы не можем столько ждать! Не можем! — и, еще раз поглядев на крест, зашагал по комнате.

Они жили в Нордхаузене третий день. Карл отказался возвращаться в Берлин до перехода Федором границы. Ни он, ни Инга, несмотря на все старания,

не могли найти проводника. Немцы толпами ходили на ту сторону, и их часто задерживали: после двух-трех дней опроса, обычно, отпускали. Если бы задержали Федора, то акцент выдал бы его, да и документов немецких не было.

— Завтра ночью пойдем во что бы то ни стало! Надо...

Его перебил стук во входную дверь. Инга и Карл вскочили. Она хотела подойти к Федору, но тот нетерпеливо махнул рукой уходить в кухню. Достал из-за печки пистолет и положил в карман. Стук повторился. Федор вышел в коридор.

Фрау Шмидт оторвалась от глазка двери:

— Какой-то военный, — и уступила место Федору. За дверью стоял Василий.

Василий вошел боком и первое, что увидел, — гражданское платье Федора. Забывая поздороваться, шагнул к нему:

— Что случилось, Федя? ●

— А вот, смотри, — Федор руками показал на себя.

— Ничего не понимаю!

— Пойдем, — Федор пропустил Василия в комнату, закрыл дверь и молча усадил на диван.

— Бегу, Вася.

— Бежишь?! Куда?

Федор махнул рукой в сторону окна — солнце уже село, только кровавая полоса зари, разлившись, стояла над лесом.

— Ты что, с ума спятил? Что случилось-то?

— Ах, Вася... — щека Федора дернулась и он, взяв со стола папиросу, стал закуривать.

Федор рассказал Василию обо всем, что с ним случилось после отъезда из Нордхаузена. Василий слу-

шал и время от времени бил кулаком по колену, то ли от огорчения, то ли от возмущения.

— Вот, Вася, какие дела. Не мог не проститься с тобой, хотя, боюсь, что могу подвести. Когда вчера позвонил и сказали, что ты в отъезде, даже испугался, что не увижу.

Василий сидел, свесив большую голову.

— Д-а-а-а, дела, — словно про себя, наконец, произнес он. Потом несколько раз провел ладонью по подбородку.

— А где же эта, твоя дивчина?

Федор позвал Ингу. Она вошла и остановилась на пороге. Тяжелый взгляд Василия так и впился в нее.

— Д-а-а-а, — снова проговорил он, было видно, как мрачнело его лицо.

— Как же вы пойдете через границу? — вдруг спросил он, продолжая в упор разглядывать Ингу.

Та поглядела на Федора, словно прося защитить ее от взгляда Василия. Федор перевел вопрос Василия и сам ответил:

— Хотели проводника, но не можем найти. Решил завтра идти так, а она вот боится за меня.

— Мы с Карлом сейчас думаем идти на ту сторону, чтобы разузнать все, завтра к ночи вернемся, — быстро проговорила Инга, глядя все так же на одного Федора.

— Что она говорит?

Федор перевел. Василий выпятил нижнюю губу и хмыкнул:

— Молодец девка... Любит.

Инга словно догадалась, что этот огромный и мрачный офицер похвалил ее:

— Мы идем сейчас. Возможно, встретим полутчиков, которые знают дорогу, — и, не удержавшись, покраснела.

Федор хотел позвать Карла, но, вспомнив, что это нехорошо в отношении Василия — подвергать того встрече с лишними людьми, вышел с Ингой из комнаты.

— Все будет хорошо, милый, ты не беспокойся. Завтра мы вернемся.

Карл был на кухне. Федор попросил его быть осторожнее.

— До свидания, Инга. Слушайся во всем Карла. Не рискуйте. Лучше мы подождем день-два, — они вышли в коридор.

Девушка потерлась щекой о его щеку.

— Я так люблю тебя.

— Может быть, тебе лучше остаться дома, а Карл сходит один?

— Нет, нет, Федя. Я хочу что-нибудь сделать для тебя, для нас.

Федор поцеловал ее, поправил выбившиеся из-под берета волосы и снова сказал:

— Правда, Инга, может быть, лучше тебе не ходить?

Девушка молча покачала головой, улыбнулась, потрогала пальцами его брови, щеки, губы и подтолкнула к двери.

— Тебя ждет твой друг. Не беспокойся, милый, все будет хорошо.

Василий все так же сидел на диване и мрачно разглядывал носки своих сапог.

— Ты что, как на похоронах? — стараясь пошутить, сказал, садясь рядом, Федор.

— Конечно, похороны. Единственный друг уходит — разве это не похороны!... Эх, Федя, Федя...

Василий ушел ночью, пообещав в свою очередь



разузнать о проводнике и завтра вечером, чтоб не заметили, придти снова.

Весь следующий день Федор нервничал. Он чувствовал себя таким одиноким и беспомощным, что побег начинал ему казаться неосуществимым и губельным. Он даже раз поймал себя на мысли: не бросить ли все и не поехать ли в Советский Союз — еще было не поздно, но тут же застыдился. Инерция принятого решения понесла его дальше: вечером вернется Инга, и все окажется не таким трудным. Потом ему стали мерещиться за окном подозрительные люди, начинало казаться, что за домом следят. Он то и дело прислушивался и едва заставил себя написать письма Соне и Кате.

Он, по-разному, просил их простить ему. Письма были коротенькими, хотя ему очень хотелось рассказать все с предельной искренностью, но так он мог подвести Василия, который должен был переслать письма.

Уже стемнело, когда в коридоре послышался стук. Фрау Шмидт вышла из кухни, но что-то долго не отпирала. Федор выглянул в коридор — чей-то женский голос с явно русским акцентом просительно говорил за дверью одно слово: — Битте... битте... битте...

Федор похолодел. Снял предохранитель пистолета и стал за шкафом у окна, выходящего из коридора на задний дворик. Бесшумно открыл оконную задвижку и дал старухе знак открывать.

Вошла маленькая, толстая женская фигура. Федор сразу узнал.

— Наталия Николаевна!

— Вот чертовка, едва впустила, — проговорила жена генерала и, разглядев Федора, протянула к нему руки.

— Федя, сыночек...

У Федора заныло внутри, и он, схватив мягкие руки, прижал их к губам. Уже в комнате Наталия Николаевна сняла большой русский платок и заплакала быстрыми, дробными слезами:

— Вася мне все рассказал... Он ждет в машине за углом... Сыночек ты мой, за что же они довели тебя до этого ужаса... Проститься пришла. Благословить пришла... Как сына люблю... Моему не говорила, потом, когда пройдет, скажу... Он мне рассказывал про вашу встречу в Лейпциге — не даром душа болела у меня... Говорила ему — похлопочи, чтоб Федю в дивизию перевели... — Она вытерла концом платка глаза. — Ну, что там теперь говорить... Ты о сестре подумай, напиши ей обо мне, ведь она теперь сиротой остается... Так я буду помогать в лагерь, а освободится — к себе выпишу... мой согласится... Он ведь добрый, Федя... «Молчи, скрывайся и тай»... — вот и молчит, и таит.

Федор не выдержал и тоже заплакал.

— Ах, Наталия Николаевна, разве я бежал бы...

— Знаю, Федя, знаю. Поэтому и пришла... Знать, судьба...

Она встала и трижды его перекрестила:

— Помоги тебе Бог, Федя. Не легко тебе будет там... Теперь прощай... Мне долго нельзя... надо о своем молчальнике подумать... Прощай, Федюшка, — мокрое лицо ее сморщилось, и она снова мелко заплакала.

— Соне, сестре напиши о нас... Васе передай... Он сейчас придет... Прощай... страдалец... — жалостливо махнув рукой, повернулась и пошла, вытирая платком глаза.

Василий застал Федора в том же положении, в ка-

ком оставила его Наталия Николаевна: он сидел на диване, глядя перед собой пустыми глазами, на щеках были видны следы слез.

— Вот она, русская женщина! Не твоим немкам пара!

Не глядя на Василия, Федор тихо сказал:

— Зачем ты так, Вася?

— А затем, что обидно! Ведь она пришла отговаривать тебя, а вернулась — плачет и говорит: «Не могу! Верну, а вдруг на муку. Да и немку несчастной сделаю. Не могу, боюсь, грех на душу возьму». Понимаешь? А ты, кого я больше всех любил, так легко нас и родину на немку меняешь!

— Я никого и ничего не меняю, Вася. Я просто не могу быть разменной монетой в руках правителей наших, о которых так правильно говорил твой отец.

— Что правители! Они мне тоже вот! — Василий резко провел ладонью по горлу. Тебе теперь бежать не миновать, но ты как бежишь? Отказываешься от родины и народа своего! Я всю ночь не спал, весь день не свой ходил: если он, думал, для народа бежал, а то, ведь, он плюет на народ. Ему бы только вырваться, а там пусть она сгинет, Россия-то! Так?

— Нет, не так, Вася. Зачем ты все говоришь: народ, народ. Помнишь, как ты раньше говорил, что немецкий народ ответствен за Гитлера, помнишь? Почему же ты не говоришь об ответственности нашего народа за Сталина? Я знаю не хуже твоего, что русский народ теперь в огромном большинстве ненавидит власть большевиков. А народу не было наплевать и на Россию, и на свободу в 17-м году? Революцию кто сделал? — Дезертиры с фронта! Кто дал победу большевикам в гражданскую войну? — Циничный выбор крестьян, — ты, ведь, из крестьян, должен знать, —



между барином-офицером и комиссаром-большевиком! Конечно, знай они, что получится, не выбрали бы комиссара! Я хочу сказать, что наш народ во многом виноват сам в том, что происходит у нас сегодня. Почему же, скажи, почему же я должен отвечать за это? А? Если я рискую жизнью, бегу от рабства, то что дает тебе право говорить, что я кого-то предаю? Я могу понять Колчина, Серова — они завтра назовут меня изменником, врагом народа, но тебя я понять не могу!

Василий выслушал Федора, глядя на него так, будто впервые видел:

— Ты образованнее меня, Федя, ты знаешь больше моего, но я никогда не смогу отказаться от отца и матери, какие бы они ни были, какие бы ошибки они ни делали! Так думаю я, сын русского крестьянина. Народ наш для меня — это отец мой, мать моя, — это калека Рогов, калека Седых, это Соня и Катя, наш генерал и Наталия Николаевна, а враги народа — это те, кто мучает их, меня и... тебя! И, если бы мне пришлось бежать, то я бежал бы, как наш сержант Егоров месяц тому назад бежал, оставив записку замполиту: «Ну, гад, держись, я еще вернусь!» — вот как я бежал бы! А ты?... Из-за немки бежишь!

— Нет, не из-за немки, не из-за немки бегу я! Здесь дышать нечем! Понимаешь: нечем дышать!

— Посмотрим, — примиряюще сказал Василий, — я очень хочу, чтоб я не был прав — ведь ты мой друг, Федя, — и он положил тяжелую руку на колено Федора.

— Помнишь, Вася, в прошлый раз я говорил, что все равно, кто победит — коммунизм или демократизм, что человечество в далеком будущем придет к тому, к чему должно придти? Теперь же я совершенно уве-



рен: победы коммунизм, человечество кончит всеобщим рабством — мы ведь уже рабы! Все рабы! Сейчас, в эпоху наступления коммунизма, его воюющий раб не чувствует этого — рабство скрыто от нас напряжением наступления, даже, если хочешь, — ощущением побед. А вот потом, после победы, все увидят и ничего не смогут сделать. Как теперь мы после победы. Сейчас нас держат в напряжении очередных заданий, кампаний, войн, стахановщины и тому подобное, но если коммунизм победит, наступит всеобщее рабство! А за рабством придет смерть того, что мы зовем Человеком.

Если мне удастся бежать, я не знаю, что буду там делать — не вижу еще. Знаю одно — жить здесь не могу, задыхаюсь. Разве...

Раздался сильный стук во входную дверь. Федор быстро оглянулся и опустил руку в карман. Василий поднялся тоже, лицо его стало жестким и суровым:

— Дай сюда пистолет.

Федор отпрыгнул, затравленно глядя на Василия:

— Отдай, дурак, — усмехнулся тот.

Стук повторился сильнее и настойчивее.

— Если это они, скажем, что приехал проститься со мной, а за пистолет мне ничего не будет.

Федор покорно отдал пистолет. Они услышали голос хозяйки, звук отпираемой двери, и сразу же следом в комнату ввалился Карл. Федор так и замер. Карл был оборван, в грязи и бледен:

— Инга... Инга... — задыхаясь, проговорил он, с отчаянием глядя на Федора, — убита!

— Что он сказал? — быстро спросил Василий.

Федор стоял, как по команде «смирно», только глаза его странно сощурились и смотрели на Карла. Потом поискали чего-то на стене и остановились над

кроватью, где вчера была тень креста. Василий подошел и взял его за плечо:

— Что он сказал?

Щека Федора задергалась — быстро — быстро.

— Ингу... убили... — шопотом проговорил он, все так же глядя на стену.

Василий ахнул и, обернувшись к Карлу, не выпуская плеча Федора, по-русски спросил:

— Где убили?

Карл понял:

— На границе... Советский автоматчик...

Василий понял «граница». Он осторожно усадил Федора на диван. Углы большого рта его обвисли, и он с беспокойством оглядывал лицо Федора, — тот сидел, откинувшись на спинку дивана, бессмысленно глядя перед собой.

— Ну, а теперь... побежишь? — тоже шопотом спросил Василий.

Федор медленно выпрямился, повернул к нему голову, сощурился, как только что на Карла, и вдруг вскочил, затрясся и закричал, злобно и истушенно:

— Рад?! Доволен?! Так знай же — бегу! Сейчас, немедленно, слышишь, сейчас же!...

Было половина четвертого. Моросил дождик. Федор все шел и шел. Спотыкался в темноте о пни, кочки, проваливался в мокром снегу; однажды где-то совсем рядом послышалась русская ругань, но он шел, не сворачивая и не прячась, крепко сжимая в руке пистолет, — прямо на запад.

А через три дня Василий с разрешения генерала поехал в Берлин разыскивать Катю, но ее уже не было — она уехала в Москву.